

# ВРЕМЯ РЕАКЦИИ | REACTIONARY TIMES

ВЫПУСК #15 ФЕВРАЛЬ 2007 | ГАЗЕТА ПЛАТФОРМЫ "ЧТО ДЕЛАТЬ?"

ISSUE #15 FEBRUARY 2007 | NEWSPAPER OF THE PLATFORM "CHTO DELAT? / WHAT IS TO BE DONE?"



## Борис Кагарлицкий

Конец XX века казался полным отрицанием всего того, что составляло смысл и содержание уходящего столетия. Не случайно модный философ Френсис Фукаяма принялсЯ писать о конце истории. Все идеалы, ради которых люди боролись и умирали, все лозунги, под которыми прошла эпоха, были отвергнуты, осмеяны и объявлены лишёнными всякого смысла. Казалось, какой-то по волшебству перевел стрелки на часах истории на сто лет назад, но не остановил эти часы, а сломал их, чтобы они никогда уже не смогли пойти.

Технологические знания, накопленные за сто лет, остались с нами, но не общественный опыт.

XX век был веком борьбы за социализм. Борьбы трагичной, кровавой, по большей части неудачной. Итогом столетия была “всеобщая уверенность”, что капитализм представляет собой единственно возможную, естественную и вечную форму человеческого общежития.

XX век начался с революции в России, а заканчивался реставрацией. Над страной вновь взмыли византийские двуглавые орлы. Идеи Адама Смита, считавшиеся устаревшими к концу XIX столетия, были объявлены абсолютной истиной, на которой должна остановиться всякая экономическая теория. Но самое главное – политики, идеологи и интеллектуалы, сделавшие карьеру на пропаганде социалистических идей, теперь продолжали свою карьеру в качестве их разоблачителей.

Разумеется, такое происходит не случайно. Итогом “эпохи войн и революций” оказалась реставрация и реакция. Тут нет ничего удивительного. Всякое перенапряжение общественного организма приводит к подобному возврату назад. Если почти за целый век, несмотря на огромные жертвы и усилия, мы не достигли той цели, ради которой была начата великая историческая борьба, совершенно естественно, что вера была поколеблена, а силы подорваны.

Идея потребления и стремление к индивидуальному успеху сменили великие цели, ибо остались единственными убедительными стимулами, единственными принципами, понятными и самоочевидными для разочарованного общества.

Отвергнув коммунистические режимы, народы Восточной Европы радостно бросились в плавание к берегам буржуазного процветания. Их западные соседи тронулись в путь одновременно с ними. Ведь победа над коммунизмом означала конец старого социального компромисса, заключенного буржуазной элитой с низшими классами. Этот компромисс был не более, чем побочным продуктом великой революционной борьбы. Поражение революции знаменовало закат реформизма. Правящие элиты получили возможность, наконец, реализовать собственную повестку дня, восстанавливая в максимально возможном объеме “старый порядок”, поколебленный катаклизмами XX века.

Наступившая реакция, конечно, не означает механического возврата назад. Тем более, не означает она отказа от технических достижений предыдущей эпохи. Как раз наоборот, новые технические идеи должны быть использованы для того, чтобы закрепить или вернуть к жизни устаревшие социальные и экономические отношения. Точно так же как железные дороги и пароходы в 1820-е годы призваны были укрепить консервативный порядок “Священного Союза” в Европе, потрясенной бурей Французской революции, так сегодня компьютеры, телекоммуникации и прочие радости новой технологии были использованы для того, чтобы укрепить капитализм в его самой примитивной форме.

Торжествующий принцип предполагает бесконечную и безжалостную гонку за прибылью. Приличия отброшены, сдерживающие факторы отменены. Устаревший социальный контракт выброшен на свалку истории, а вместе с ним традиционная (в том числе – буржуазная) культура, мораль. Пока в Восточной Европе жаловались на “дикий капитализм” и мечтали о сближении с “цивилизованным Западом”, на Западе капитализм дичал.

На Востоке Европы, однако, имели место особые обстоятельства. Крушение коммунистических режимов сопровождалось хаосом “переходного периода”. Впрочем, именно шок, вызванный начавшимся хаосом, помог людям пережить происходящее. Все были уверены, что переходный период должен закончиться, а за ним наступит “нормальный” капитализм с неизбежным благосостоянием.

И вот, наступила новая повседневность. Она закрепила и упорядочила именно то, что казалось самым отвратительным и неприемлемым в период “перехода” – новую логику человеческих отношений. Для большинства временные проблемы стали постоянными. Некоторым удалось преуспеть. Но разве деньги в кармане решают все проблемы? Жалуются все, даже те, кто добился успеха. Комфорт потребления оказался основан не только на социальном неравенстве, но и на отчуждении личности. А свобода рыночных сил оказалась далеко не равнозначна личной или политической свободе. В обществе, где граждане чувствуют себя неуверенно и боятся неопределенности жизни, государство тоже имеет основания бояться непредсказуемости граждан. Чем больше бедных, тем больше недовольных. Чем больше недовольных, тем больше расходы на содержание тайной полиции.

Кто сказал, что граждане боятся государства, а не наоборот? Страх государства перед гражданами куда сильнее! Он предопределяет политику. Он диктует принимаемые решения. Он становится основой политических институтов. Это государственный страх, возведенный в принцип отношений между властью и обществом. Госстрах.

На первый взгляд основные потрясения в Восточной Европе уже позади. Капитализм нормализовался. Увы, ужасы переходного периода оказались не так страшны, как кошмар буржуазной повседневности.

Деньги стали единственным мерилом успеха, критерием и целью одновременно, и многие научились их зарабатывать. Старые знания, квалификация, опыт обесценились, но многочисленные гуру рыночной экономики предлагают нам новые рецепты преуспевания. Востребованы новые знания, появляется спрос на людей, обладающих не слишком важными в прошлом качествами. А с другой стороны, разве способность приспосабливаться к начальству, умение угождать вышестоящим, соглашаться с господствующим мнением, служившие залогом успешной карьеры в старой партийной бюрократии, оказались невостребованными в новой, корпоративной бюрократии или в администрации современных политиков? Все эти достойные качества передаются из поколения в поколения, обеспечивая ту реальную преемственность, без которой не может успешно существовать никакое общество. Приспособление к обстоятельствам – лозунг любого консервативного порядка, общественного и частного. Но не всем дано добиться всего. Консервативное общество обречено на резкое снижение социальной мобильности. Все остаются на своих местах. Каждому – своё. Рабочий будет рабочим, предприниматель останется предпринимателем, а бюрократ – бюрократом.

Капитализм обещал динамизм, перемены. А эра новых технологий манила безграничными возможностями самореализации. Однако возможности индивидуальной самореализации на фоне отсутствия социальных перемен оказываются иллюзорными. Мы напоминаем Алису из сказки Льюиса Керолла, которой приходилось очень быстро бежать, чтобы остаться на месте. Гонка за призом оборачивается борьбой за выживание.

Крупный капитал поглощает мелкий, корпорации выдвигают с рынка

независимых бизнесменов. Подняться вверх всё труднее, чем спуститься вниз. Чем стабильнее общество, тем более жестко действует это правило.

По мере того, как надежда на индивидуальный успех слабеет, усиливается потребность в коллективном решении. Но такое коллективное решение далеко не всегда воплощает в себе торжество коллективизма и солидарности. Группа людей, объединяющейся для того, чтобы улучшить своё положение, может быть профсоюзом, гражданской организацией, партизанским отрядом или художественной мастерской. Но она может быть и обыкновенной бандой.

В 1930-е годы XX века Эрих Фромм, наблюдая подъем фашизма в Германии, констатировал, что мелкая буржуазия, столкнувшись с жесткими правилами “свободного рынка”, утратила веру в свободу. Если свобода означает потерю безопасности, от неё надо прятаться, надо бежать. Начало XXI столетия демонстрирует ту же тенденцию. Миллионы людей фактически деклассированны. Бросившись (добровольно, и не очень) участвовать в увлекательной гонке, они утратили своё прежнее место в мире, но не обрели нового. Ультраправые идеологи предлагают им простой и немедленный выход: надо избавиться от “чужих”, “других”, “пришлых”. Тогда место расчистится, ваши шансы повысятся.

Неофашистские, расистские, ксенофобские движения, расплотившиеся по всей Европе к началу XXI века представляют собой крайнее выражение общего торжества реакции. Это последняя, отчаянная попытка поверженного обывателя приспособиться к системе, которая всё равно использует его в качестве “человеческого материала”, не более.

Страх перед системой иррационален для тех, кто не вооружен рациональным мышлением. Чем менее рационален страх, чем менее понятны его реальные источники, тем легче его переадресовать. Можно бросать вызов обществу, не вступая в борьбу против общественного порядка, можно почувствовать себя борцом и радикалом, не рискуя радикально и последовательно мыслить.

Именно поэтому всякий бунт, не опирающийся на рациональное понимание противоречий общества, сам по себе является одновременно и порождением и фактором реакции. Эта реакционная оппозиция усугубляет безвыходность общего существования. Правящий класс отвергает её во имя политической корректности, поскольку альтернативой политкорректности в сегодняшнем обществе был бы не возврат к патриархальной традиции, а хаос, война всех против всех. Это не входит в планы правящего класса, стремящегося к стабильности. Но реакционный люмпенский бунт всё равно предпочтительнее для элит, нежели классовая борьба. А потому как консервативная, так и либеральная элита, лицемерно возмущаясь растущими проявлениями нацизма и расизма, одновременно поддерживает интерес к этим идеям, давая возможность огню расовой ненависти потихоньку тлеть, не доводя, однако, дело до серьезного пожара.

Опыт истории, впрочем, показывает, что удерживать такие процессы под контролем не всегда удается. Ситуация может измениться, да и стратегия – тоже. Сегодняшние экстремисты и клоуны при благоприятных обстоятельствах обращаются в столпов системы (к чему они, в сущности, и стремятся).

И всё же, рациональную мысль убить не так легко. И не так просто заморочить всем голову рассуждениями о новой эпохе, во имя встречи с которой мы должны отбросить весь накопленный веками опыт критического мышления.

Ссылки на подвижность и гибкость реальности, изменившейся под влиянием новых технологий, лежали в основе бесчисленных постмодернистских теорий, от откровенно охранительных, до почти революционных, в духе “Империи” М.Хардта и Т.Негри. Однако под покровом “новой реальности” всё более обнажаются всё те же традиционные противоречия, которые лишь сменили облик.

В XIX веке железные дороги и пароходы, с энтузиазмом внедрявшиеся лидерами “Священного Союза” не предотвратили новых революций. Технически укрепив “старый режим” в краткосрочной перспективе, новая техника способствовала развитию и обострению конфликтов, которые в конечном итоге взорвали общество.

То же самое ожидает нас и в XXI веке. На смену реакции неизбежно идет новая революционная волна. Её первые признаки мы уже видим – в массовых демонстрациях протеста, охватывающих Западную Европу, в социальных форумах, в поднявшей знамя социализма Венесуэле, в крестьянских движениях Бразилии и Боливии.

Но надо не просто ждать новую волну, а действовать сегодня. И порой, когда, перефразируя Маркса, “критика оружием” не стоит в повестке дня, самым мощным и эффективным оказывается “оружие критики”.

Для того, чтобы успешно преобразовать общество, надо понять его. Отбросить мусор пропаганды. Задавать конкретные вопросы, находить убедительные, недвусмысленные ответы. Перестать верить в идеологическую мистику, научиться языку политической экономии. Научиться, как говорил Брехт, “не смотреть, а видеть”.

Рабочее движение, социалистическая идеология проиграли в XX веке первый акт своей борьбы. Но это был только первый акт. Мы обязаны продолжить дело, начатое на баррикадах Парижской Коммуны и московской Пресни. Мы принадлежим к той же истории, которая никогда не прекращалась, и не замедляла свой бег. Просто она не развивается по прямой.

Исторический опыт XX века становится опорой, на которой мы строим свою собственную практику – новаторскую и творческую, но немыслимую без понимания, освоения и осмысления своего прошлого, своих традиций. Многого можно стыдиться, но нельзя отказываться.

В эпоху реакции массовое сознание утрачивает веру в социальный прогресс. Веру, являвшуюся самоочевидной на протяжении большей части XIX и XX века, подхлестывавшую великие народные движения и героические личные поступки совсем ещё недавнего прошлого. Однако и это не ново – поражение Французской революции разочаровало народы ничуть не меньше, чем крушение советского эксперимента. Всё равно, даже утратив веру в прогресс, люди не утрачивают надежду. А потому борьба масс продолжается стихийно и порой неосознанно даже тогда, когда господствующая идеология кажется непоколебимой.

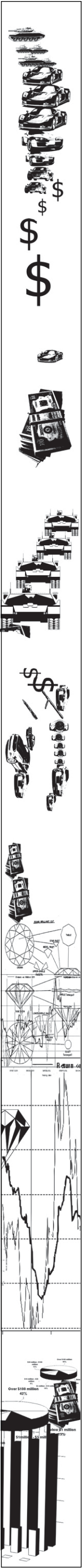
Если Великая французская революция свергла в Европе старый режим и утвердила основы буржуазной цивилизации, если полтора века спустя эта цивилизация была опрокинута красными революциями, если к концу XX века режимы, порожденные этими революциями, сами пали жертвами либеральной реставрации, с чего вы взяли, что на этом история кончается?

Новый век станет эпохой гигантских социальных преобразований или он действительно станет концом истории. В том смысле, что придет конец всей нашей цивилизации. Писать историю будет не для кого. Мы вступаем в зону риска. Поиск мешанского благополучия (вполне, кстати, понятный и естественный на уровне индивидуального сознания) завел нас в тупик неопределенности, в ситуацию, когда безопасности больше нет, а покой давно уже никому даже не снится.

Ну, что ж! Перемены, так перемены. Риск, так риск! Надо принять вызов истории, но не для того, чтобы, зажмурившись, броситься навстречу неизвестному будущему, а чтобы создать его.

Как было сказано в замечательной песни XIX века: “своею собственной рукой”!

*Борис Кагарлицкий (р.1958) - социолог, журналист, Директор Института проблем глобализации, живет в Москве*





## A vertical collage of various images. At the top, there are several cars and a crane. Below that is a bridge with a car on it. Then, two soldiers in helmets, one holding a rifle. A biker in a leather jacket and helmet is next. The Visa logo appears three times. A rocket is shown twice. A boat is depicted. A pen is shown. A bridge is shown. A forest of pens is shown. A soldier's face is shown at the bottom.

The bourgeois agenda assumes an endless and merciless race for profit. All propriety is thrown to the wind; all restraining factors are swept aside. Not only the obsolete social contract, but also traditional (bourgeois) culture and morality are consigned to the scrapheap of history. While people in Eastern Europe were busy complaining about “wild capitalism” and dreaming of coming closer to the “civilized” West, Western capitalism itself was only getting wilder.

Big business eats small business; corporations push independent entrepreneurs from the market. It is much more difficult to rise to the top than to fall to the bottom. The more stable a society, the more stringent the application of its rules.

As that excellent 19th century song tells us: “our own right hand the chains must sever.”

*B. Kagarlitsky (b. 1958) sociologist, journalist, Director of the Institute of Globalization Studies (IPROG), lives in Moscow*



Московское метро, поздний вечер. Несмотря на поздний час, пассажиров довольно много. В вагоне едут Активист и Теоретик. Напротив них висит красочная реклама паштета, летящего в космосе, с надписью «И целого мира мало!». Тут же – написанное крупными буквами объявление милиции о том, что все приехавшие в город иммигранты обязательно должны пройти регистрацию. Коммивояжер с большой пластиковой сумкой демонстрирует новейший стеклорез, на глазах у пассажиров рассекая образцы стекла: «Кто заинтересовался, обращайтесь!» Рядом сидит китаец, перелистывая книгу с иероглифами на обложке. Напротив – компания тинейджеров громко обсуждает новые модели смартфонов. Мужчина лет 40 спит, прислонившись к боковому ограничителю скамейки. По полу вагона туда-сюда катается пустая бутылка из-под пива.

**Теоретик:** И сколько новых членов в последнее время появились в вашей организации?  
**Активист:** Немного, несколько человек. Но они все активные и сознательные!  
**Теоретик:** Помнишь, пять-шесть лет назад было много разговоров о «полевении». Казалось, что «протестные настроения» блуждают в обществе, и нужно лишь «оседлать» их. Взять хотя бы отчаянные выступления против монетизации льгот. Либеральные интеллектуалы старшего поколения упрекали нас, что мы попали в общий тренд, «моду». Мы возражали: это не мода, не очередной «дискурс», а действие самой реальности, которую они отказываются видеть! Мы рассуждали о «контр-гегемонии» левых в политике и культуре. Но где это все сейчас? На том же месте.  
**Активист:** Мы работаем. Проводим образовательные семинары. В последнее время у нас было несколько удачных пикетов и акций. Профсоюзное движение оживает. Посмотри, что происходит сейчас на «Форде» [1]. Не надо впадать в мелкобуржуазную панику! Ты придаешь слишком большое значение тому, что представляется в культурном поле. В этом смысле ты, и в самом деле, ориентируешься на «моду». А реальные процессы продолжают развиваться.  
**Теоретик:** То, о чем я говорю, вполне с ними согласуется. Да, появляются новые люди, образуются новые союзы и профсоюзы. Но перспективы того, что этот подъем может охватить широкие массы, пока не видно. В СМИ громко зазвучали старые националистические «песни о главном». Спиритуалистические и религиозные камлания проникают повсюду – даже в места, с ними несовместимые. На винзаводы, например.2 А большинство, как сообщают нам ученые мастера опросов населения, все глубже погружается в «политическую апатию», отдавая все силы «частной жизни». Люди словно погружаются сон, в изоляцию, уводящую от универсального и коллективного измерения современности.  
**Активист:** Получается, «патия – мать порядка!». Некоторые услужливые мудрецы даже додумались до того, что апатия – это досадная, но нужная вещь для «суверенной демократии». Ведь иначе всякие идеалисты-коммунисты сразу придут к власти. Или, того хуже, – фюреры! Так что апатия, ясное дело, «меньшее зло». В нашем лучшем – из худших – миров. Поэтому да здравствуют монотонные радости потребления для одних и заботы каждодневного выживания – для других. Это и есть то, что называют «стабильностью».  
**Теоретик:** Наш опыт «стабильности» насчитывает всего-то лет 5-6. Люди, жизнь которых пришлось на пик брежневского

застоя, говорят, что тогда казалось – «это навсегда». Такое же настроение иногда охватывает и сейчас. Эта стабильность имеет и более широкий исторический контекст. В 1990-е годы либералы наивно надеялись вовлечь в неокapиTaлистической процесс большинство населения. Согласно распространенной идеологии, оно должно было заниматься мелким бизнесом, быть предприимчивым и активным. В 2000-е годы правящий класс отказался от этой мобилизационной позиции и перешел к популистским методам правления, которые отныне предполагают молчаливое и апатичное общество.  
**Активист:** Вспомни Грамши с его знаменитой концепцией гегемонии. Он противопоставлял гегемонии диктатуре – прямому, непосредственному господству. Как это ни парадоксально, ситуация 1990-х годов и была диктатурой, только неолиберальной. Вполне диктаторской была «шоко-терапия» 1992 года, когда цены подскочили в десятки раз. Я не говорю о многих других печальных событиях. Сейчас же в официальной политике мы наблюдаем попытку перехода к гегемонии, довольно странной. Потому что из-за наступившей апатии нет того «гражданского общества», которое выплеснулось на улице в конце 80-х. По Грамши, именно к нему апеллирует гегемониальная власть в своей гибкой политике маневров и альянсов. Значит, гражданское движение надо имитировать. Отсюда, например, абсурдная активность всевозможных верноподданныхческих «молодежных организаций», которые устраивают многотысячные шествия. И поэтому так нужны власти новые идеологи, все эти «консерваторы», а также «позитивные» культурные проекты, производящие текстуру согласия.  
**Теоретик:** Но при этом именно сейчас что-то очень сильно и неумолимо изменилось. Это как в романах Филиппа Дика – все то же самое, но в пачке «Мальборо», купленной в супермаркете, не хватает пары сигарет... Ощущение неуютного, «жуткого», das Unheimliche, которое преследует в метро, на улицах, везде. Что казалось хорошо знакомым, вдруг становится непривычным и пугающим. Как Красная площадь перед Новым годом, которая в этот раз была заполнена одними гастарбайтерами. Беднякам просто некуда было деться на праздник, учитывая их условия жизни в Москве. Их пропускали отмечать «самый лучший праздник» через миллиейское оцепление. То, что должно было оставаться тайным, скрытым, вдруг выходит наружу, как сказал в 19 веке философ Шеллинг.  
**Активист:** Все дело в тех самых реальных процессах, которые вдруг прорываются на поверхность. Идет финальная приватизация остатков советской системы – ЖКХ, образовательных и культурных институций. Все попадает в кругооборот капитала, ничего не остается вовне. И почти никто уже не протестует, не возмущается, хотя мы и стараемся привлечь к этому общественное внимание. В такой «стабильности» действительно есть что-то жуткое!  
**Теоретик:** После этой завершающей приватизации термин «постсоветское пространство», в котором выражалось своеобразие наших обществ, диалектика «перехода», окончательно устареет. Рассуждения об упорстве советского в быту, в общественном пространстве, в архитектуре, в системе власти, лишь маскируют закрытие этого этапа нашей истории. Активист: В это же время приватизация сырьевых ресурсов начинает приносить сверхприбыли. In oil we trust! Истинный источник новых религиозных и мистических упований – многомиллионный «стабилизационный фонд». О нем мы

знаем только то, что его нельзя использовать на банальные нужды земной справедливости. Вот он, тайный план светлого будущего: надо копить стабилизационный фонд. Через тысячу лет аккумуляции его, видимо, хватит на сто лет коммунизма. Хотя нет – к тому времени нефть уже кончится.  
**Теоретик:** Ха! Тут есть и «метафизические» следствия. Этот фонд не используется, т.е. не актуализируется. Чем не материальное воплощение современных трактовок древних категорий потенциального и актуального, подчеркивающих их асимметрию? Эта экономическая институция стабильности прекрасно поддерживает сложившееся распределение актуального и потенциального. Политическая сфера основана на всеохватывающей актуальности «меньшего зла» – в противовес потенциальностям, которыми кажутся опасными или неосуществимыми. Люди актуализируют свою энергию частным образом. В офисе, гипермаркете, кафе – вот где теперь кипение страстей! А стабилизационный фонд – это идеологический образ будущего коллективного спасения от этого жуткого мира «меньшего зла», который постоянно грозит развалиться на изолированные части. Стабфонд компенсирует ослабление прочих потенциальностей – через их, так сказать, монетаризацию!  
**Активист:** Слушай, это интересный разговор, но мне выходить на следующей станции. И к чему все сводится?  
**Теоретик:** Я бы сказал – к переходу от формального подчинения к реальному, о котором говорит Маркс в «Капитале». При формальном подчинении узурпируются только средства производства. В нашем случае советское наследие было распределено среди небольшого числа капиталистов. Эта ранняя стадия скорее формальна, поскольку капитал не влияет на то, что ты делаешь, как живешь. Ты просто вынужден продавать свой труд, входя в эту систему извне. Постсоветская система была еще формальным, внешним подчинением, но сейчас возникает реальное, имманентное подчинение. Капитал пытается извлекать прибыль из самой организации, общественного характера труда, пытаясь управлять им, как и нашими жизнями. Этот момент мы и переживаем так остро – как опыт «жуткого».  
**Активист:** Мда. От апатии – к жути, от формального подчинения – к реальному... О дивный новый мир! Ладно, увидимся.  
**Теоретик:** До встречи!

Голос из динамика произносит: «Станция Текстильщики!». Активист выходит. Пустая бутылка выкатывается из вагона и разбивается вдребезги.

Примечания:  
1. Имеется в виду завод Ford в городе Всеволожске Ленинградской области, где полтора года назад возник независимый профсоюз, который организовал несколько крупных забастовок.  
2. Бывший винный завод – место проведения большой выставки современного искусства под названием «Верю».

Алексей Пензин (род 1976) - философ, политический аналитик, член рабочей группы “Что делать?”, живет в Москве



МОНИКА МАРКЛИНГЕР | MONIKA MARKLINGER /// Revolution means consciousness (Never forget that the people are the driving force in history), 2007



Alexei Penzin | Uncanny Stability

*It is late in the evening in the Moscow Metro but the train is full, nevertheless. An Activist and a Theoretician are riding together. Across from them, there is a glossy advertisement for some kind of pate, flying off into outer space to the slogan “The whole world is not enough!” Beneath it, one can see a public notice from the militia informing all visitors to the city that registration is mandatory. A travelling salesman with a big plastic bag is demonstrating the newest kind of glass cutter, dissecting glass samples for the passengers’ pleasure: “If I’ve caught your interest, don’t hesitate to ask.” A Chinese man sits nearby, flipping through a book with hieroglyphs on the cover. Across from him, a group of teenagers is loudly discussing the newest types of smartphones. A 40-year old man is stretched out sleeping on one of the benches at the back of the car. An empty beer bottle rolls back and forth on the floor to the rocking of the train.*

**Theorician:** So how many new members have joined your organization lately?

**Activist:** Not many, only a few. But they are becoming more and more active and conscious!

**Theorician:** Remember how five or six years ago, everyone was talking about a “shift to the left.” It seemed as though “protest potential” were haunting society as a whole, and that these potentials would only have to be harnessed properly. Just take those desperate manifestations against the monetization of pensioner’s privileges. Liberal intellectuals of the older generation accused us of conforming to a general trend. We answered that it wasn’t just fashion and not just another “discourse,” but the action of a reality that they were refusing to acknowledge! We talked a lot about the left’s “counter-hegemony” in politics and culture. But where is all of this today? Nothing has changed one single bit.

**Activist:** We’re working on it. We carry out educational seminars. Lately, we carried out a few successful pickets and actions. The trade union movement is finally coming alive. Look at what’s happening at Ford<sup>1</sup>. There’s no reason for petit bourgeois panic! You’re ascribing too much significance to what’s being presented in the cultural field. In this sense, you really are a fashion victim. But in reality, things are still developing.

**Theorician:** That doesn’t necessarily contradict what I’m saying. Yes, there are new people. New groups, trade unions or whatever are taking shape. But it seems unlikely that any of this will spread to the population at large any time soon. The mass media have been full of songs about what really counts. Spiritualism and religious goobledygook are suddenly everywhere, even in incongruous places like former wine factories.<sup>2</sup> As our learned opinion pollsters tell us, everything sinking deeper and deeper into “political apathy,” as people put all their efforts into “private life.” People are falling asleep again, drifting off into illusions that lead away from the universal and collective dimension of the contemporary.

**Activist:** It turns out that “apathy is the mother of order!” Eager to please, some wise men are even starting to say that apathy is a regrettable but necessary thing in a “sovereign democracy.” Because otherwise all kinds of idealists and communists will immediately come to power. Or some new F hrer, god forbid! So of course, apathy is the “lesser evil.” Ours is best of all bad worlds. Say hurray to the monotonous joys of consumption for some and the daily worries of survival for others. This, actually, is what they call “stability.”

**Theorician:** Our experience of stability only amounts to about five or six years. People who lived their active lives at the peak of the Brezhnev stagnation say that it seemed like it would last “forever.” We sometimes have very similar feelings today. This stability has a broader historical context. In the Nineties, the liberals naively hoped to involve the population at large in a broader neo-capitalist process through small business, following the entrepreneurial ideology of activity and inventiveness. In 2000, the ruling class abandoned this mobilizing position and moved on to populist methods of control, which now require the spread of silence and apathy.

**Activist:** Think of Gramsci and his famous conception of hegemony. He opposed hegemony to dictatorship as direct, immediate domination. As strange as it sounds, the situation in the Nineties was a dictatorship, albeit a neo-liberal one. For an example of its dictatorial methods, look at the “shock therapy” of 1992, which hiked prices by dozens of times, not to mention all the other sad stuff that happened later on. Today’s official policies are attempting to make the transition to a hegemony of a rather strange sort. Because of the onset of apathy, there is no “civil society” of the kind that flooded out onto the streets in the late 1980s. According to Gramsci this is exactly the constituent power that hegemony tries to capture with its flexible political maneuvers and alliances. Social movements now need to be created from scratch, such as in the absurd activity of all kinds of loyal civic “youth organizations,” whose meetings number in thousands. This is why the state needs new ideologists, new “conservatives,” and new “positive” cultural projects, producing a texture of consent.

**Theorician:** But at the same time, there has been an undeniable change. It’s like in a Phillip Dick novel; everything is the same, but the pack of Marlboros you buy at the supermarket contains two cigarettes less... There

is a discomforting sensation of the “uncanny,” das Unheimliche that follows you in the metro, and out on the streets. Everything that seemed so familiar suddenly becomes strange and frightening. Like Red Square on New Years Eve. This time around, it was almost filled completely with migrant workers. The poor guys had no other place to go on the holiday, which makes sense if you think of the conditions they live under in Moscow. So the militia cordon let them through to celebrate “the best holiday of them all.” Something that was meant to stay secret suddenly comes to light, as Schelling said in the 19<sup>th</sup> century.

**Activist:** This is all about those real processes that suddenly burst to the surface. We are seeing a final privatization of the remainder of the Soviet system, its communal administrations or its educational and cultural institutions. Everything is sucked into a whirlpool of capital. There is no outside. And almost nobody protests or gets upsets, even when we try to draw public attention to this process. There really is something uncanny about this “stability”!

**Theoretician:** This final push of privatization will outdate the term “post-Soviet space,” used to express the specific quality of our societies and their dialectic of “transition.” Considerations of the pervasive Soviet qualities of everyday life, public transportation, architecture, the system of governance now simply obfuscate the closure of this stage of our history.

**Activist:** At the same, the privatization of natural resources is beginning to reap real profits. In oil we trust! The real source of all these new religious and mystical paeans is to be found in the millions of the “exchange stabilization fund.” The only thing we know about it is that we are not allowed to spend it on the trivial needs of worldly justice. There it is, the secret plan for the bright future: we have to put it into the stabilization reserve. After a thousand years, there will probably be enough to pay for 100 years of communism. Although we’ll probably have long since run out of oil by then.

**Theoretician:** Ha! There are “metaphysical” consequences too. The stablization fund remains unused, that is, unactualized. Where could you find a more material embodiment of contemporary interpretations of ancient categories of potentiality and actuality, underlining their asymmetry? This economic institution of stability beautifully maintains the established distribution of the potential and the actual. The sphere of politics is based on an all-encompassing actuality of the “lesser evil,” as a counterweight to the potentialities that seem dangerous or impossible to realize. People actualize their energy in a personalized way. Offices, supermarkets, and cafes are the places where you can find passions boiling! But the stabilization fund is the ideological image of the future, promising collective salvation from this terrible world of “the lesser evil” that constantly threatens to fall apart into isolated parts. The stabilization fund compensates for the weakening of all other potentialities, through their monetization, so to speak!

**Activist:** Listen, this is an interesting conversation, but I have to get out at the next stop. What does this all come down to?

**Theoretician:** I would say that it comes down to a transition away from the formal submission to reality that Marx mentions in Capital. Formal submission only usurps the means of production. In our case, the Soviet legacy was distributed to a modest number of capitalists. This early stage is more formal, since capital has no influence over what you do and how you live. You just have to sell your work as labor, entering the system from the outside. The post-Soviet system was still a formal, exterior submission. What we see today, on the contrary, is real, *immanent* submission. Capital tries to draw profit from the organization and the social character of labor, attempting to control them as well as our very lives. This is the moment we experience as something so vividly “uncanny.”

**Activist:** Mmmm...well. That’s it then. From apathy to the uncanny. From formal submission to real submission! Oh brave new world! I guess I’ll see you later.

**Theoretician:** See you later.

*The voice on the loudspeaker says “Next stop: Tekstilshiky!” The activist gets out. The empty beer bottle rolls out of the car and shatters on the platform.*

Endnotes:

1. Ford refers to the Ford car plant in the city of Vsevolzhsk in the Leningrad region, where an independent trade union was founded one and a half years ago, and has already organized several large strikes.

2. In January 2007, an art exhibition with the name I BELIEVE opened in the former wine cellar of the Moscow cultural center Winzavod.

*A. Penzin (b. 1976) philosopher, member of workgroup “Chto Delat?”, lives in Moscow*

disintegrated and scattered into closed, dense body-objects, fragments, and statues. The resulting collection of artifacts has nothing in common with a museum or an ordered construct that stands firm on the fundament of constructed historical causality. None of the things here has the significance of being a fact, idea, or a life instrument in motion. These fragments are not connected to one another by anything. They begin and end in themselves. The monstrosity of their closure suppresses even the vaguest memory of what once was their intended use. The overall frontline of resistance is indeterminate and even unimaginable in the ordered chaos of things that are so conclusive, engrained, and intolerable. At the low points of social productivity, it sometimes seems that the event-machine has turned into nothing more than an aggregate that churns out chests and coffers never intended to be unlocked. Today –perhaps more than ever before – we need neither art as a weapon nor art as reflection, nor as a sublime experience of still hearing faint echoes of the future’s music. What we need is knowledge. We need a master key, a way of reestablishing the links in the broken chain of phenomena, still connected by the unified force of history, allowing us to see the relations between people behind and beyond the relations of things.

*Ilya Budraiskis (born 1981) - historian and political activist - member of the socialist movement “Vpered”, lives in Moscow*

Илья Будрайтскис  
Непрозрачность

*Калейдоскоп следует непременно разбить*  
Вальтер Беньямин

Политическое свойство искусства состоит не в определенной ангажированности формы, но в принципиальном качестве художественного восприятия действительности, общественного контекста, основанном на непосредственном взаимодействии автора и зрителя. Явление произведения как объекта и субъекта одновременно, как самостоятельной эстетической ценности, невозможной; вне много-стороннего взаимодействия с ситуацией, определяет его подлинную политичность. Именно действительность как конкретное историческое состояние, переживаемое обществом, является основным, определяющим ресурсом для работы художника, для создания действенной и живой культуры.

Сегодняшняя российская ситуация, возможно, уникальна с эстетической точки зрения, как презентация принципиальной невозможности взаимодействия, как максимально закрытое для познания и изменения тело. Непрозрачность – вероятно, главное и определяющее качество нашей действительности, безошибочный признак и спутник реакции. Непрозрачность - это отсутствие общества как субъекта, означающее сужение культурного пространства до персонального trip’a художника. Непрозрачностью отмечена вся система политических институтов, осуществление господства как такового. Гегемония класса собственников, растворенная в общественном пространстве, оказывается расщепленной, рассыпанной на уровне закрытых, плотных и телесных объектов, обломков и статуй. Это скопление артефактов совсем не похоже на музей, на упорядоченное строение, прочно стоящее на фундаменте конструируемой исторической последовательности. Каждая из вещей здесь не имеет значения факта, идеи, инструмента жизни, находящейся в движении. Осколки не связаны между собой ничем, они начинаются и заканчиваются на самих себе, подавляя уродством завершенности даже смутное воспоминание о своем прошлом предназначении.

Соппротивление, тотальная линия фронта неопределенна, непредставима в упорядоченном хаосе вещей, таких законченных, укорененных, невыносимых. Иногда кажется, что машина событий в минуты наименьшей производительности общества превращается в обычный агрегат, выпускающий сундуки, которые не предназначаются к открытию. Сегодня, возможно, более чем когда-либо, нам необходимо не искусствоворужие, не искусство-отражение, не возвышенное переживание еще чуть слышной музыки будущего, но познание, отмычка, связь разорванной цепи явлений, связанных единой силой истории,; позволяющая увидеть за отношениями вещей отношения людей.

*Илья Будрайтскис (род. 1981 г.) историк и политический активист, член социалистического движения “Вперед”*

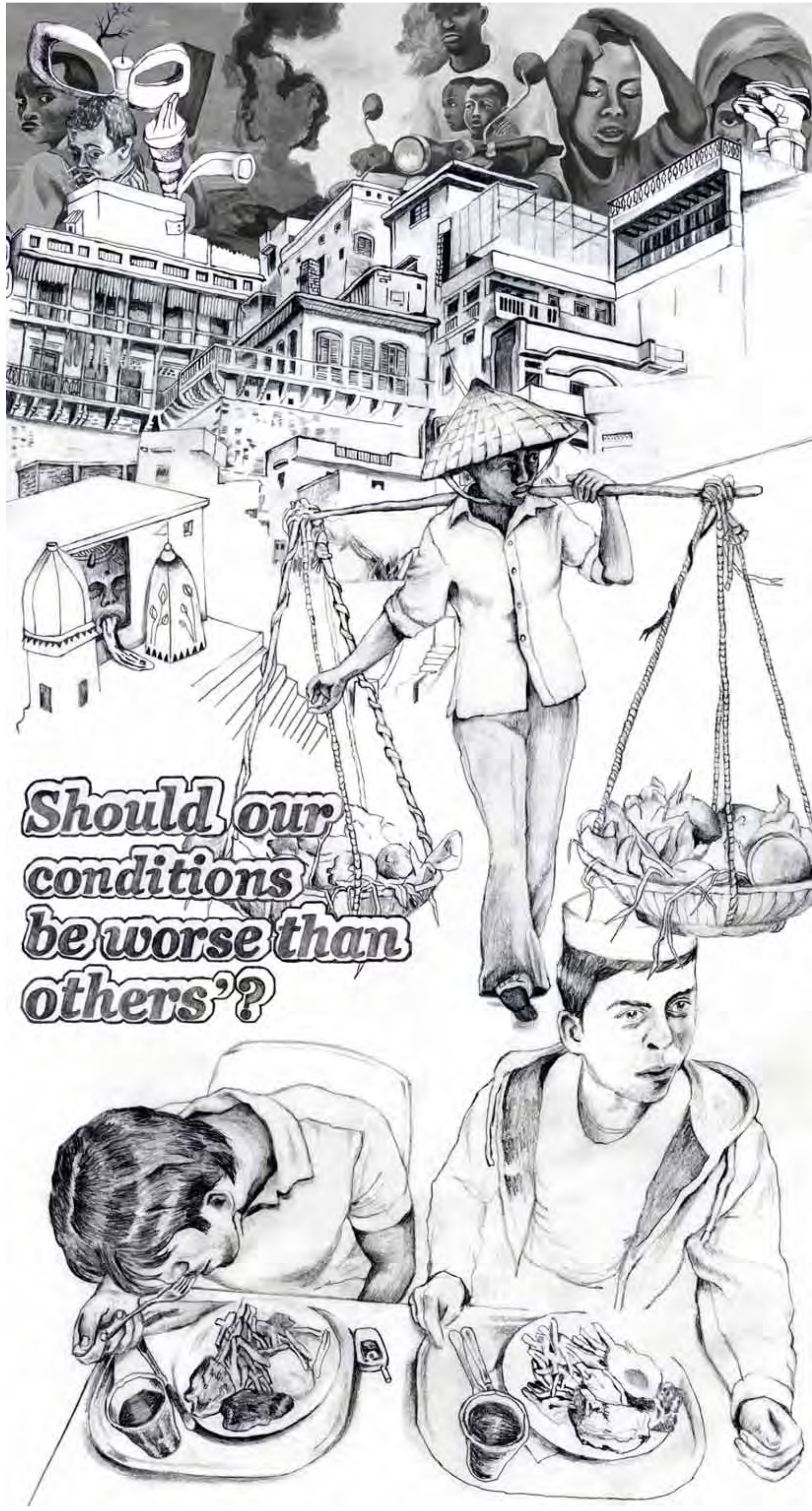
Ilya Budraitskis | Opacity

*The kaleidoscope must be smashed.*  
Walter Benjamin, “Central Park”

The political in art does not consist of the degree of engagement in its form, but in the basic quality of the artist’s perception of reality and the social context, which, in turn, rests upon the immediate interaction between the author and his audience. The phenomenon of the artwork as both object and subject at once as an independent aesthetic value - impossible outside a multi-faceted interaction with its situation – defines its real political quality. It is reality as a concrete historical condition experienced by society that is the basis and the determining resource for the work of the artist and the creation of active, living culture.

The situation in Russia today may be unique from an aesthetic point of view in that it presents the fundamental impossibility of interaction, an extreme sense of closure to cognition and physical change. Opacity is probably the principal quality that determines our reality, appearing as the unmistakable companion and symptom of a reactionary time. Opacity is the absence of society as a subject in art. It betokens the reduction of cultural space to the individual artist’s ego trip. Opacity defines the entire system of political institutions that realize dominance as such. The hegemony of the proprietary class, dissolved in public space, has







Luchezar Boyadjiev | Who are the Good Guys?

I have been living in the EU for a month now... It's not what I expected it to be... I mean, you only need to look at the holes on the roads they have all over there! Just the other day I drove somebody off to Sofia Airport – my God, what a dreadful ride! And they say EU is an elite club..., elite my ass, I say!

At least the government of this country, not that I voted for them mind you, has already started the procedure for Bulgaria to join the Euro zone as soon as possible, like in 2-3 years. That's good I tell you, for they will finally get off our backs. They will have to recognize our home-made money; all those Euro bills that we are traditionally printing here in the country will no longer be treated as forgery!

I am not so sure about salaries though... The other day somebody published the findings of an economical forecast research saying that the average pay in Bulgaria will reach EU standards by the year 2230... In fact I should not be worried at all, in fact - that's not my problem at all. Actually, things changed for me overnight in this department, which is great! You see, until January 1<sup>st</sup> 2007 I never made a single penny as an artist in my own country! I always provided for my family and myself by commuting to work in places West, South, North and sometimes East of the borders of Bulgaria, everywhere else but... So, now that my home country is in fact the whole European Union I can safely say that most of the work I do and most of the money I earn for the work that I do, I earn at home. And that's a big relief, I tell you!

In one word, after January 1<sup>st</sup> 2007, when Bulgaria joined the EU, I turned overnight from a lumpen artist (for in my country I have virtually no status as an artist, which is not the way it is outside of the country) into a middle class cultural worker of the visual persuasion with all those nice benefits such as for instance, traveling to France (I take the nastiest example...) on my ID card alone and taking great pleasure to bark back “it's none of your fucking business” at the border guard when he/she asks me “what is the purpose of your visit to France”... I can even play now the solid EU partner to a poor, underprivileged and understaffed visual art NGO in Skopje, Chisinau or even Istanbul.

Truth is we are living through very interesting times; and not only us in the EU. The new cycle of modernization is affecting the whole of Eastern Europe and all of its newly defined micro-regions and split post-socialist identities. There are now several kinds of countries in what used to be a more or less homogenous post-socialist region. There are the never-to-be-in-the-EU, the not-yet-in-the-EU, the never-ever-wanted-to-be-in-the-EU, the just-initiated-into-the-EU, the already-there-and-proud-of-it-in-the-EU countries and many more. And that's just taking into account one very superficial marker, membership into the EU (which itself used to be a kind of a social-democratic project but is now undergoing a severe crisis of identity).

Nonetheless, what I have in mind is that all through the formerly socialist Europe there is a process going on of constructing capitalism out of socialism. This is actually a process of re-creation of the bourgeois and the middle class who were largely eradicated in the first years after the revolution in 1917 and after the end of the war in 1945. Provided these new economies are booming it's surprising to realize that this new kind of capitalism is based not on production, new technologies or stuff like that but actually on “innovative” approaches to consumption, a model best seen in Russia rather than in China, which is dumping world prices, true, but it is still producing material commodities, or something, whatever it is they are actually producing... That does not seem to be the case with Russia, which is only producing wealth and international scandals, both of these being related to natural gas and crude oil.

Actually it's the first generation ever, the first time ever in Russian history when all (or nearly all) people living in Moscow (and other large cities) have at their disposal everything which everybody of their contemporaries allover the developed world (well, nearly allover and nearly everybody) has readily available on the streets of their cities – from Coca Cola and LG, to Prada, Bvlgari and Hugo Boss. The problem is not really that few if any of the most consumer-attractive commodities one can see in Russian cities are produced in Russia. The problem is where does actually the money come from for the app. € 1000 per month salary I recently heard being offered to potential metro station managers over the loudspeakers in the Moscow subway? By any standard, that's not a really skill-demanding job, while this kind of money is still something over there... True, the same consumer-satisfying situation is there for the first time in Bulgarian history as well... But I have not heard anybody offering such high pay to city employed workers in Sofia, with or without the EU membership. Yet, in both these countries it's the first time in history when modernization is based on consumption. How is this possible? I think through the conscious, state-sponsored creation of a class of urban consumers which is meant to sustain the new order. This is the new urban middle class. It is supplying consumers and it is on the receiving end of the new economy/market.

So, it seems that if you want to have the new kind of capitalism, the neo-capitalism born out of socialism, first you need to produce a middle class; then you have to secure for it a certain level of income by relatively wider distribution of the wealth generated from your natural resources (in the new EU member states that's the investment potential which is treated as a “natural resource”); then you have to train it to consume even though that might mean (at first) living on credit, then you have the bourgeoisie and then...

Well, then one starts wondering - if all of this means that we are living through some reactionary times, then who are the good guys? The question is open since all of us in the formerly homogenous Eastern Europe are actually enjoying the first time in our collective history when we have all these things available that would have been unthinkable just a generation ago... I do not have in mind only the availability of commodities... I am just wondering if I should forget my life before 1989 with all its aspects or should I rather draw some lessons from it?... By the way, there are some nice discounts these months on Bulgarian Black Sea coast real estate...

Sofia, January 31<sup>st</sup> 2007

Luchezar Boyadjiev (1957), artist, lives and works in Sofia, Bulgaria

Лучезар Бояджиев | Кто здесь Good Guys?

Уже месяц как я живу в Евросоюзе... Это не похоже на то, чего я ждал... Достаточно посмотреть на изрытые рытвинами дороги! На днях я отвозил одного человека в софийский аэропорт – бог мой, что за чудовищная поездка! И они еще говорят, что Евросоюз – это элитный клуб... в задницу такую элиту, доложу я вам!

Правительство этой страны – не то чтобы я голосовал за них, если на то пошло – уже начало процедуру по скорейшему вступлению Болгарии в зону Евро, это должно произойти в течение двух-трех лет, вроде того. Это хорошо, ей богу, потому что они слезут, наконец-то, с наших хребтов. Им придется признать нашу отечественную валюту; все эти купюры Евро, которые мы исправно печатаем у себя в стране, больше не будут считаться фальшивыми!

А вот насчет зарплат я не уверен... Недавно опубликовали данные экономического исследования – средняя зарплата в Болгарии по их прогнозам достигнет стандартов Евросоюза к 2230-му году... Вообще-то лично мне тут нечего беспокоиться, это не моя проблема. В этой области, признаться, для меня в миг все изменилось, и это здорово! Дело в том, что до 1 января 2007 года, как художник я не заработал ни копейки в своей собственной стране! Я всегда обеспечивал себя и свою семью сезонными заработками, отправляясь к западу, к югу, к северу, а иногда и к востоку от границ Болгарии, куда угодно... Так что теперь, когда моя родная страна – это весь Европейский Союз, я могу со спокойной совестью сказать, что большую часть своей работы и большую часть денег, которые за нее получаю, я получаю дома. А это, доложу я вам, огромное утешение!

Одним словом, после 1 января 2007 года, когда Болгария вступила в Евросоюз, за одну ночь из люмпен-художника (ибо в своей стране виртуально у меня нет никакого статуса как у художника, а вот за рубежом все обстоит несколько иначе) я превратился в культурного работника по визуальной части, представителя среднего класса, со всеми этими чудесными преимуществами, такими как путешествие во Францию (беру самый гнусный пример...) по одному лишь удостоверению личности и превеликое удовольствие пролягать пограничнику «не твое собачье дело», когда он/она задает вопрос: «цель вашей поездки во Францию?»... Теперь я даже могу изображать солидного европейского партнера перед нищими, лишенными привилегий, недоукомплектованными негосударственными институтциями визуального искусства в Скопье или даже в Стамбуле.

Истинная правда, мы живем в очень интересные времена; и не только мы, вступившие в Евросоюз. Новый цикл модернизации захватывает всю Восточную Европу и все ее новообразованные микро-регионы, раскалывая пост-социалистические идентичности. В том, что раньше представляло собой более или менее однородный пост-социалистический регион, теперь возникло несколько разновидностей стран. Те, которые никогда-не-будут-в-Евросоюзе, те, которые еще-не-в-Евросоюзе, те, которые никогда-и-не-хотели-быть-в-Евросоюзе, те, которые только-что-вступили-в-Евросоюз, те, которые уже-там-и-гордятся-этим и многие другие. И все это – учитывая только один весьма поверхностный признак: членство в Евросоюзе (каковой был когда-то разновидностью социал-демократического проекта, но сегодня переживает жестокий кризис идентичности).

И все же меня не отпускает мысль, что на всем пространстве бывшей социалистической Европы идет процесс строительства капитализма из социализма. На самом деле это процесс воссоздания буржуазии и среднего класса, во многом искорененных в первые годы после революции 1917 года и после окончания Второй мировой войны. Допуская, что эти новые экономики переживают бум, удивительно осознать, что этот новый тип капитализма основывается не на производстве, новых технологиях или чем-то вроде этого, но в действительности на «новаторских» подходах к потреблению – модель, более заметная в России, чем в Китае, который сбивает мировые цены, что правда, то правда, но все таки производит материальные товары, или что там они производят... В России же все обстоит не так, Россия производит только богатство и международные скандалы, причем и то, и то другое связано с природным газом и необработанной нефтью.

Вообще-то это первое поколение за всю историю России, когда все (или почти все), живущие в Москве (и других больших городах) имеют в своем распоряжении все то, что каждому их современнику повсюду в развитом мире (ладно, почти повсюду и почти каждому) легко доступно на улицах своих городов: от Кока Колы и LG до Prada, Bulgari и Hugo Boss. Проблема на самом деле не в том, что лишь некоторые, если вообще какие-либо из большинства привлекательных для потребителя товаров, которые можно увидеть в российских городах, произведены в России. Проблема в том, откуда же берутся деньги для месячной зарплаты чуть ли не в 1000 долларов для потенциальных диспетчеров на станции метро, о чем я недавно услышал в громкоговорителях московской подземки? По любым меркам, это не столь уж высококвалифицированная работа, тогда как за границей такую зарплату надо еще поискать... Не спорю, такая же потребительски-удовлетворительная ситуация сложились впервые и в истории Болгарии... Но я не слышал, чтобы в Софии кто-нибудь предлагал муниципальным служащим столь же высокий заработок, как до вступления в Евросоюз, так и после. И тем не менее в обеих наших странах впервые в истории модернизация основывается на потреблении. Как это возможно? Думаю, посредством сознательного, финансируемого государством создания класса городских потребителей, предназначенных поддерживать новый порядок. Это новый урбанистический средний класс. Он поставляет потребителей и находится в роли получающей стороны в новой экономике/рынке.

Получается, что если вы хотите иметь новый тип капитализма, неокapиTaлизм, родившийся из социализма, сперва вы должны создать средний класс; затем вы должны гарантировать ему определенный уровень дохода путем относительно более широкого распределения богатства, извлекаемого из ваших природных ресурсов (в странах-новых членах Евросоюза это иностранные инвестиции, которые рассматриваются как «природные ресурсы»); потом вы должны научить его потреблять, даже если это может означать (поначалу) жизнь на кредиты, потом у вас должна появиться буржуазия, а потом...

Ну, а потом начинаешь задаваться вопросом: если все это означает, что мы живем в реакционные времена, то кто здесь good guys? Вопрос остается открытым, ведь все мы в бывшей некогда однородной Восточной Европе вообще-то впервые в нашей общей истории имеем возможность наслаждаться изобилием, что было немислимо еще для предыдущего поколения... Я имею в виду не только доступность товаров... Хотелось бы знать, должен ли я просто-напросто забыть свою жизнь до 1989 года, со всем хорошим и плохим, что в ней было, или должен извлечь из нее кое-какие уроки?

София, 31 января 1007

перевод Александр Скидан

Лучезар Бояджиев (1957 г.) художник, живет в Софии, Болгария

# А. Магун | Диалоги пассажиров и водителей

Поездка 1. Чкаловская – Аэропорт.

**Таксист:** Сколько у нас времени?  
Пассажир: Важно не то, сколько времени, а какое оно! У нас, наверное, много времени, но это время реакции. Посмотри: у нас в России разгоняют демонстрации, сажают в тюрьмы без суда и следствия, создают карманные партии. Кучка людей может продать любое решение. И большая часть наших сограждан не спорит с этим – у нее нет времени на сопротивление. Она ходит в супермаркеты, делает ремонты, обсуждает сделанные покупки по мобильным телефонам. Люди не переживают о своем замыкании в частной жизни: ведь в этой частной жизни они удовлетворяют желания, разделяемые другими, пропагандируемые в в реалити-шоу, сериалах и блокбастерах! Да и ругать правительство за взятки тоже приятнее с друзьями по мобильному телефону... А если они вдруг о чем-то всерьез задумаются, их снабдят какой-нибудь мистикой замшелой.  
**Таксист:** Да, деградировал наш народ. Раньше не так было. Раньше был коллективизм, люди улыбались, помогали друг другу. Сейчас волчьи законы! Ну а что делать – с волками жить, по волчьи выть!  
**Пассажир:** Но как же – нельзя же им уподобляться!  
**Таксист:** Ну да, прямо сейчас станем все зайчиками. Вот у меня жена – зайчик. Я ей покупаю красивые шапочки и тапочки. Но для этого я должен за баранкой офигевать, когда вот тут (резко вырывает) п... недоученные по улицам шастают!  
**Пассажир:** Ну ты же сам говоришь, что раньше не так было.  
**Таксист:** Да конечно, парень, не так. Тогда в ГАИ порядок был. Да и люди как-то человечнее. Сейчас же вот понаехала шантрапа всякая с Кавказа, с гор спустились, им сломанные жигули выдали – рули, Джохар! У нас вот даже у президента помощник чеченец – чего ж ты хочешь!  
**Пассажир** (опешив): Что ж делать-то... Неужто в совок опять, чтоб за границу не пускали, и бананы только по-праздникам!  
**Таксист:** Не, совок уже не вернуть, к сожалению. Это просто нас греет как память. Такие песни чувствительные были! Знаешь, не тоску навевали, как сейчас, а такую светлую грусть! «Надежда! Мой компас земной». Да и с бананами – какая-то трогательность была в этих бананах, особая нежность исчезания. А сейчас правильно ты говоришь, братан, сейчас надежды никакой. Бананы купил, съел и все – они только радуют, если когда их ешь, про совок вспоминаешь, и еще в это же время по телевизору песню Пахмутовой передают. Нам надо объединяться, я так думаю.  
**Пассажир:** Кому «нам»?  
Таксист: Ну как кому, русским.  
**Пассажир:** ???  
**Таксист:** Ну да, раз мир волчий, надо в стаи значит сбиваться, чтобы вместе защищаться-то от врагов. Ты телик смотрел? Ну они там брешут много, но в одном не врут: всюду наезды на нас. Уже вот и белоруссы, гады, хотят задарма от нас разжиться! А ведь тоже были братья, и вот, обманули. Помнишь, песня такая была? «Молодость моя! Белоруссия!» Эх!  
**Пассажир:** Так ты же говорил, что тоскуешь по задушевности, братству?  
**Таксист:** Ну так, а я тебе про что? Ты по-русски понимаешь вообще? (С подозрением оглядывает пассажира). Вот между нами (*акцент на «нами»*), конечно, нужно как-то что-то выстроить такое братское. А то у нас менты на деньги чеченцев живут, а олигархи – на деньги Израиля. Правители же по церквам ходят, а миллиарды народные в Америке хранят.  
**Пассажир:** Вот именно – как же ты можешь им верить! Они от Запада стригут купоны, ездят туда на лыжах кататься, а тебе впаривают про нацию русскую, чтобы они не лезли со своей демократией. Была бы демократия – сквырнули бы олигархию!  
**Таксист:** Так Запад тоже не хочет здесь никакой демократии! Он понимает, что демократия у нас будет на-цио-нальная. Так что они тоже эту пургу про демократию для виду пускают. Им одно надо, чтобы Россия была послабее. Поэтому они грызно какую-нибудь поддержат, или молодежь отмороженную, а не народ чтоб решал. А у самих все то же – только о себе, любимых, думают. Сейчас все-таки есть у нас в политике хоть какой-то национальный вектор, все ж полегчало людям.  
**Пассажир:** Так ты ж в аэропорт людей возишь – разойдемся с Западом, кого ты будешь возить? Таксист? Я, во-первых, вообще инженер по профессии. А во-вторых, я же не против, если кто съездит ненадолго...  
Пассажир: Ну, спасибо.  
Таксист: Да не за что. Кстати, подъезжаем. С тебя 500 возьму, потому как человек ты русский, рассудительный.

Поездка 2. Ст.м. Московская - Чкаловская.

*Пассажир ловит такси. Останавливается подержанная Тойота. Внутри интеллигентный водитель в пиджаке.*

**Пассажир:** Здравствуйте, до Чкаловской не подвезете?  
**Таксист:** Да, садитесь пожалуйста.  
**Пассажир:** Спасибо. Вам, наверное, по дороге?  
**Таксист:** Да нет, просто сейчас цены все выросли, приходится после лекций шустрить, чтобы баньку на даче построить. Прибавочное рабочее время, как нас в советское время учили.  
**Пассажир:** Да. А теперь - время реакции!  
**Таксист:** Так у нас не время, а место реакции. У нас народ такой: что с ним не делай, будет слушаться сильной руки. Нет у него моральных интересов, ценностей, что ли. И никогда не было. Ну вот, посмотрите, что я говорю (резко вырывает). Ну как же так можно подрезать!!! Вот Вы небось из Европы прилетели – ну там вообще так немыслимо поступать. Не-мыс-ли-мо!  
**Пассажир:** Ну а мы с Вами как, тоже такие рабы прирожденные?  
**Таксист:** Ну нет, в России есть все-таки традиция небольшой европеизированный класс иметь, это еще с Петра Первого. Но мы никак не можем контролировать толпу эту – не хочет она общечеловеческих ценностей, и все тут.  
**Пассажир:** Минуточку! Если эти европейцы презируют наших обывателей, то те еще больше становятся рабами! А сами западные журналисты и политики часто переносят это отношение и на нас с Вами! Поэтому многим и обидно: стараешься доказать, что ты не верблюд, любишь их горячо, этих европейцев, а они все изучают, нет ли в тебе чего антилиберального? Сегодня у нас по телевизору показывают один сплошной комплекс неполноценности! «Никому не позволим Россию обижать!» «Россия энергетическая сверхдержава, а кто это еще не понял, того кастрируем на месте!» Это действительно речь озлобленных рабов, исподволь выдающих свое ничтожество. Но рабов, которые полностью разочаровались в собственном «господине», то есть Западе.  
**Таксист:** Так это всегда так бывает! Массам не нужны либеральные ценности! Они выросли в насилии. Это не мы их презираем, это у них в семье, во дворе не уважают человеческую личность! Культуры нет, просвещения!  
**Пассажир:** Но разве можно получить культуру из-под палки! Надо чтобы люди сами нашли общий интерес со всеми другими людьми!  
**Таксист:** Да, вот я разве что надеюсь, что капитализм, рынок когда-нибудь сформируют у них эти общечеловеческие ценности! Чего делить с Западом, если надо торговать с ним! Что делить с таджиками – пусть себе работают, у нас и так нет рабочих рук!  
**Пассажир:** В том-то и дело, что сейчас капиталисты и рыночники научились обходиться без общечеловеческих ценностей. Точнее, для них те, кто не разделяет этих ценностей – это уже как бы не люди, а носители зла. Порочный круг получается!  
**Таксист:** Пожалуй, Вы правы. Время, понимаешь, реакции. Ну да что делать, раз время такое! Надо значит, давить безжалостно эту аморальную сволочь, вот как этот, на мерседесе – разве можно на такой скорости рулить! Буш там правильно делает, что давит их. А у нас вот пошли на поводу у этих масс... Ну, у нас всегда все вкривь и вкось!  
С волками жить – по волчьи выть! Ну, вот мы и приехали. С вас 300 рублей – рынок есть рынок!

Диалог 3. Утопия и субъективность.

*Пассажир приходит домой. Там его встречает жена. Назовем ее «Пассажирка»*

**Пассажирка:** Ну, как съездил, ненаглядный?  
**Пассажир:** Да вот, всюду время реакции.  
**Пассажирка:** Ты что, белены обелсы? Какой реакции? Ты посмотри, какую я посудомоечную машину купила? Это же прямо новый друг семьи с иностранным именем Вирлпул!  
**Пассажир:** Да нет, я имею в виду, что люди не хотят больше свободы!  
**Пассажирка:** Так эта машина, она и дает свободу, свободу времени! А ты хочешь не свободы, а наоборот, чтобы все это время заполняли комсомольскими собраниями!  
**Пассажир:** Да нет, я хочу, чтобы время было интересным...  
**Пассажирка:** Нет, наше время – это не время реакции. «Время реакции», игра на понижение – это лозунг самих реакционеров – злых националистов и вялых либералов. Наше время – время осуществляющейся Утопии. Время волшебных машин. Время, когда древняя магия и религия реализуют древнюю мечту человека о господстве над природой. (Вот, на выставке «Верю» интересная работа: яблочко ездит по гадательной ромашке, а у него в середке телепередача идет, прошлых лет). А над людьми человек больше не хочет

# Artiom Magun | Three Dialogues of Passengers and Drivers

Trip 1. Chkalovskaya Metro Station – Airport

**Driver:** How much time is there?  
**Passenger:** The question is not how much time there is, but what kind of time it is! We have plenty of time, but all of it is the time of reaction. Look: here in Russia, they are breaking up demonstrations, putting people into prison without due process, and creating loyal oppositional political parties. A small group of people is capable of pushing through any decision it likes. And most of our fellow citizens don't contest this: they have no time to react! They go to malls, repair their apartments, and discuss their purchases on their mobile phones. People don't regret their enclosure in private life: in this private life, they satisfy desires shared by others, desires that are advocated in reality shows, TV series and blockbusters! And even to criticize your government makes more sense if you use a mobile phone... But if these fellow citizens actually start thinking about something serious, they will be immediately given some religion or some occult bullshit substitute.  
**Driver:** Yes, our people have gotten worse. It wasn't like this before. There used to be collectivism; people smiled at one another, and helped one another. But now, it is the time of the wolves. And, as a Russian proverb goes, if you live with wolves, you howl with wolves.  
**Passenger:** Yes, but we don't have to be like them!  
**Driver:** Ok, so we all become small pretty pussycats. My wife is a kind of pussycat. I buy her cute fur hats and fur coats. But to do this, I need to sit behind this wheel all day long, in this city which (he suddenly brakes and quickly turns the wheel to the right) is full of ignorant motherfuckers who can't even drive a bike but buy themselves a car!  
**Passenger:** But you say yourself it wasn't like this before!  
**Driver:** Of course, man, there is no comparison. Back then, the road police was OK. And people were somehow more human. And now, the rabble from Caucasus is everywhere – they just come down from the mountains, get a broken Zhiguli, and there you go, drive on, Jokhar! What do you want if our president has an aide who is a Chechen!  
**Passenger** (shocked): But what do *you* want? You want to go back to Soviet times, when they didn't let you cross the border, and only sold bananas on holidays?  
**Driver:** No, no. There is no chance of returning to Soviet times. They only warm us with their memory. The songs were so touching back then! You know, they didn't convey anguish, as they do now, but light sadness..."Hope was our compass in the world," as one of them said. And even the bananas: there was something about those rare bananas, a special tenderness of disappearance. And now – you're totally right, man – now there's no hope. You buy your bananas, eat them, and that's it. They only make you happy if you remember Soviet times while eating them, and at the same time they play Pakhmutova's songs on TV! I think we need to unite.  
**Passenger:** Who are "we"?  
**Driver:** We, the Russians.  
**Passenger:** ???  
**Driver:** Yes! Since the world is full of wolves, we need to form packs to defend ourselves from our enemies. Have you watched TV lately? Ok, they bullshit there a lot, but one thing is true: everyone around us is trying to fuck us over. Now even the Belorussians, those motherfuckers, want to get rich at our expense! They were our brothers too, and they're trying to cheat us. You remember the song: "Oh, our young times! Belorussia!" Oh-oh-oh (he sighs).  
**Passenger:** But you just said that you miss the sentiment of brotherhood!  
**Driver:** So? That's exactly what I'm telling you about! Do you understand Russisn or not? (He suspiciously inspects the passenger). Ok, we need to build some kind of brotherhood. Because now, the cops live on Chechen money; the Oligarchs are helped by Israel. And the rulers spend their free time in churches, but keep their billions in the West!  
**Passenger:** Exactly! That's why you shouldn't trust a word of what they say! They feed on the West, they ski there, and for you, they sing songs of the Russian nation so the Westerners don't jump in with their "democracy." If we actually had democracy here, we would get rid of the oligarchs.  
**Driver:** Ok, but the West doesn't want any democracy here! They undestand that if we do have democracy, it will be a national, Russian democracy. That's why this democracy talk is blablabla. The West just wants Russia to be weak and not dangerous. So they support trouble, support crazy youngsters, and not the will of the Russian people. And at home, in the West, it's the same thing. They can only think of themselves there!

властвовать. Пусть этим занимаются скучные бюрократы. Впрочем, неудивительно, что рождается в ответ на эту утопию «реакция». В утопии ты как бы всегда «в гостях у сказки» (была такая передача в нашем детстве). А человек, он боится долго гостить – его тянет домой. Ну и потом опять же: страшно, когда твои желания удовлетворяются – где ты найдешь новые!  
Отсюда некий симбиоз сегодняшней утопии: мечты сбываются, но под видом благоустройства собственного дома! В рамках экономики, «домостроя»: то есть движения, которое всегда возвращается домой.  
Но даже такая утопия пугает: отсюда ностальгия по советскому прошлому, прошлому неудовлетворенных желаний. Отсюда поиски идентичности всех сортов – чтобы каждый знал то свое место, в которое он тащит волшебные машины гостевания: мобильные телефоны, телевизоры и т.д.  
**Пассажир:** Ты тут, мать, без меня, по-моему переспала с дерридеанцем.  
**Пассажирка:** А хоть бы и так? Верните женщинам ночь! Take back the night! Не твое дело, с кем я сплю, важно, с кем я живу. Ты не мой водитель, а я не твоя пассажирка.  
**Пассажир:** Ну-ну. Но по существу дела – ты фактически говоришь о субъективности. Но ведь я о том и толкую – как восстановить человеку субъективность? Как раз реакция направлена против демократического субъекта, по-моему...  
**Пассажирка:** Да нет, субъект это и есть реакция. Реакция на утопию. Но конечно, настоящий субъект не останавливается на домашних формах идентичности: нации, моральном самосознании. Он спускается дальше – в ночь, в разорванность, в боль о невозвратимом прошлом. Он производит, своим «реакционным» уходом, по-настоящему революционный переворот.  
**Пассажир:** Но революция ведь утопична?  
**Пассажирка:** Революция как раз, как

указывает само слово – ре-активна, субъективна. Но в ней есть с самого начала и утопия: захватывающе близкая, такая, что хочется сделать шаг назад, одуматься, вспомнить себя...  
Ход революции – это как раз диалектика субъективности и утопии. Когда Беньямин пишет про мессианский момент, в который вспоминаются все нереализованные возможности, то это звучит не так оптимистично, как кажется: в этот страшный момент человек может ведь и отказаться от своей сбывающейся мечты ради кисло-сладких воспоминаний о несбывшемся...  
**Пассажир:** Так что, ты оправдываешь националистов?  
**Пассажирка:** Да нет, я просто не хотела бы отдать им на откуп реакцию. Они сами ее не понимают, думают, речь идет о чем-то позитивном, внешнем, чуть ли не природном. А ведь субъект уходит глубоко вовнутрь, дальше, чем уют и семья, или в саму жуть уюта и странность семейности! Точно так же я не хотела бы отдавать либералам на откуп утопию. Утопия – это больше, чем уютный просмотр фильма про инопланетян или смс в Гонконг. Утопия может быть не только дома, а и в гостях...  
**Пассажир:** Теперь понятно. Революция будет означать – отгородиться от прозрачного магического мира и позвать всех в гости – да так, чтобы самому стать, как Заратустра, гостем гостей.  
**Пассажирка:** Или сломать перегородки, объединиться, и построить институты настоящей субъективации: учить людей, как править собой, как лечить себя и учить себя...  
**Пассажир:** Согласен в принципе. Ну что ж, в честь моего возвращения выпьем этого сугубо национального дагестанского коньяка за революционное объединение всех пассажиров, а также водителей Земли!  
**Пассажирка:** Заодно и Вирлпула обмоем...

*Артем Магун (род. 1974) философ, живет в Петербурге, член рабочей группы Что делать? "*



However, we do have at least some national vector in politics, so it's gotten a little better these days, at least better than in Yeltsin's time.

**The passenger:** But you drive people to the airport. Who would you drive if we actually separated from the West?

**The driver:** First of all, I'm an engineer by training and not a taxi driver. And second, I don't mind at all if somebody wants to go to the West, for a short while at least...

**The passenger:** Thank you very much.

**The driver:** My pleasure. We're almost there, by the way. I'll only charge you 500, because you're a good, considerate, and Russian person.

**Trip 2. Moskovskaya Metro Station – Chkalovskaya**

*The passenger catches a taxi. A used Toyota stops. Inside, there is a visibly cultured driver in a suit.*

**Passenger:** Hello, would you please give me a ride to Chkalovskaya?

**Driver:** Yes, please do get in.

**Passenger:** Thanks. Are you just going in the same direction? Is that why you picked me?

**Driver:** No, it's just that the prices went up, and I need to do some work after my lectures to build a bath at my country house. Surplus labor time, as they taught us in Soviet times.

**Passenger:** Yes... And now, it is the time of reaction!

**Driver:** No, it is not the time of reaction: it is the place of reaction! It's our people: whatever you give them, they only obey a strong hand. They don't have moral interests or values... And they've never had them in fact! This is exactly what I'm talking about (He suddenly and quickly turns the wheel). How can you drive like this? For instance you. You're coming from the airport, right? From Europe? In Europe they would never behave like that crazy driver! Ne-ver!

**Passenger:** And what about you and I: were we also born slaves?

**Driver:** No, after all since Peter the Great, there's been a tradition in Russia to have a small Europeanized class. But we Europeans can't control this crowd here: they just don't have human values, period.

**Passenger:** Just a moment! If the Europeans despise our common people, then the latter become even more like slaves! And the Western journalists and politicians often apply this attitude to all Russians including ourselves! That's why many are upset! You try to prove you are not a barbarian, that you love Europe wholeheartedly, and they still look at closely to check whether you're liberal enough! Look at what's on TV: it's just one big inferiority complex! "We won't let anyone offend our dear mother Russia!" "Russia is an energetic superpower, and whoever didn't get that will be castrated immediately." This is actually the discourse of resentful slaves who implicitly betray their own slavishness! But these slaves are disappointed in their master, the West!

**Driver:** But it's always been like this! The masses have no need for liberal values! They've grown up in violence. And it's not we who despise them. Their own families and streets have no respect for the human personality! They lack culture, and never went through the Enlightenment!

**Passenger:** But can you get culture through oppression? People should themselves seek their common interest with others!

**Driver:** Yeah, that's my only hope. Maybe capitalism and the market will one day form human values in these people! What divides them from the West? It's better to do business with it! What divides them from the Tadzhiks? Let them work – we can do with the work force anyway!

**Passenger:** But the problem is that the capitalists have learned to do without human values. Or rather, for them, those who don't share these values are not even people, but "rogues". It's a vicious circle, isn't it?

**Driver:** I guess you're right. These are reactionary times. So what is to be done? We need to smash this immoral rabble: like this one, in the Mercedes. How can he turn like this, at speeds like that! Bush is right to press those people down. And here, they follow these masses...In this country, everything is always wrong! To live with wolves means to howl with wolves! Ok, here we are. 300 rubles, please. Business is business!

**Dialogue 3. Utopia and Subjectivity**

*The passenger comes home. His wife meets him.*

**Wife:** So, how was the trip, sweetie?

**Passenger:** We are living in reactionary times!

**Wife:** Are you crazy? Reactionary times? What are you talking about? Look at this dishwasher I've just bought! It's a new friend of the family with the foreign name of "Whirlpool"!

**Passenger:** I mean, people around the world no longer want freedom!

**Wife:** But that's exactly what this dishwasher gives you: freedom of time! And what you want is not freedom, but that one fills in all this time with Young Communist League meetings!

**Passenger:** No, I just want time to become interesting!

**Wife:** No, our time is not the time of reaction. "Reactionary times" is the slogan of reactionaries themselves! It's a slogan of resentful nationalists and bored liberals! Quite on the contrary: our time is the time of utopia in the process of its actualization. The time of magic machines. The time in which ancient magic and religion are finally being realized as the dream of the human mastery over nature. (Remember that exhibition I BELIEVE? There was an interesting piece there: an apple rolls over a chamomile flower that is usually used for divination, and in the middle of this flower there is a TV program from the Soviet time.) The human being no longer wants to be a master over other humans. Let bureaucrats deal with that. Well, it's not surprising that there is a "reaction" to this utopia. In a utopian situation, you are always "a guest in the fairy tale" (there used to be a TV show like that when we were kids). People are afraid of being guests for too long; they want to go home pretty quickly. Of course, it's scary to see your desires realized: where do you get new ones? Hence, the symbiosis characteristic of today's utopia: dreams come true, but under the pretext of repairing one's own home! Utopia triumphs in the context of economy (household-management), as a movement that always returns home! But even such a

utopia is scary for many: hence the nostalgia for the Soviet past, for the past of unrealized wishes. Hence, the search for all kinds of identity. People want to know their place, the place they bring all the magic "visitation machines" like cell phones, TV sets, etc.

**Passenger:** Have you been sleeping with a Derridean while I was away?

**Wife:** So what if I have? Take back the night! Who I sleep with is none of your business. What's important is who I live with!

**Passenger:** I see! Let's get back to the question. The return you mention is in fact the definition of subjectivity. But I'm talking about subjectivity too, and I don't see it as something that is already there. For me, the issue is actually how to restore human subjectivity! I think reaction target the democratic subject!

**Wife:** No. Subjectivity is reactionary itself. Subjectivity is the reaction against utopia. But, of course, the true subject doesn't satisfy itself with the domesticated forms of subjectivity such as nation, or moral self-consciousness. Subjectivity descends deeper into the night, into disruption, into the pain of the irretrievable past. The subject performs a true revolution with its "reactionary" retreat...

**Passenger:** But isn't revolution utopian, on the contrary?

**Wife:** Well, revolution is, first of all, reactive and subjective (as the word itself shows). But of course, there is also a utopia present there: the utopia that is so overwhelmingly close that one wants to take a step back, to think, to remember oneself. The progress of revolution is the dialectic of subjectivity and utopia.

When Walter Benjamin writes about the messianic moment, in which all the non-realized opportunities are recalled together, this may sound less enthusiastic than usually understood: in this terrible moment, people can refuse to realize their dreams for the sake of bitter-sweet memories of the non-realized!

**Passenger:** So you're justifying the nationalists?

**Wife:** No, I just don't want to give them the notion of "reaction" without a fight.

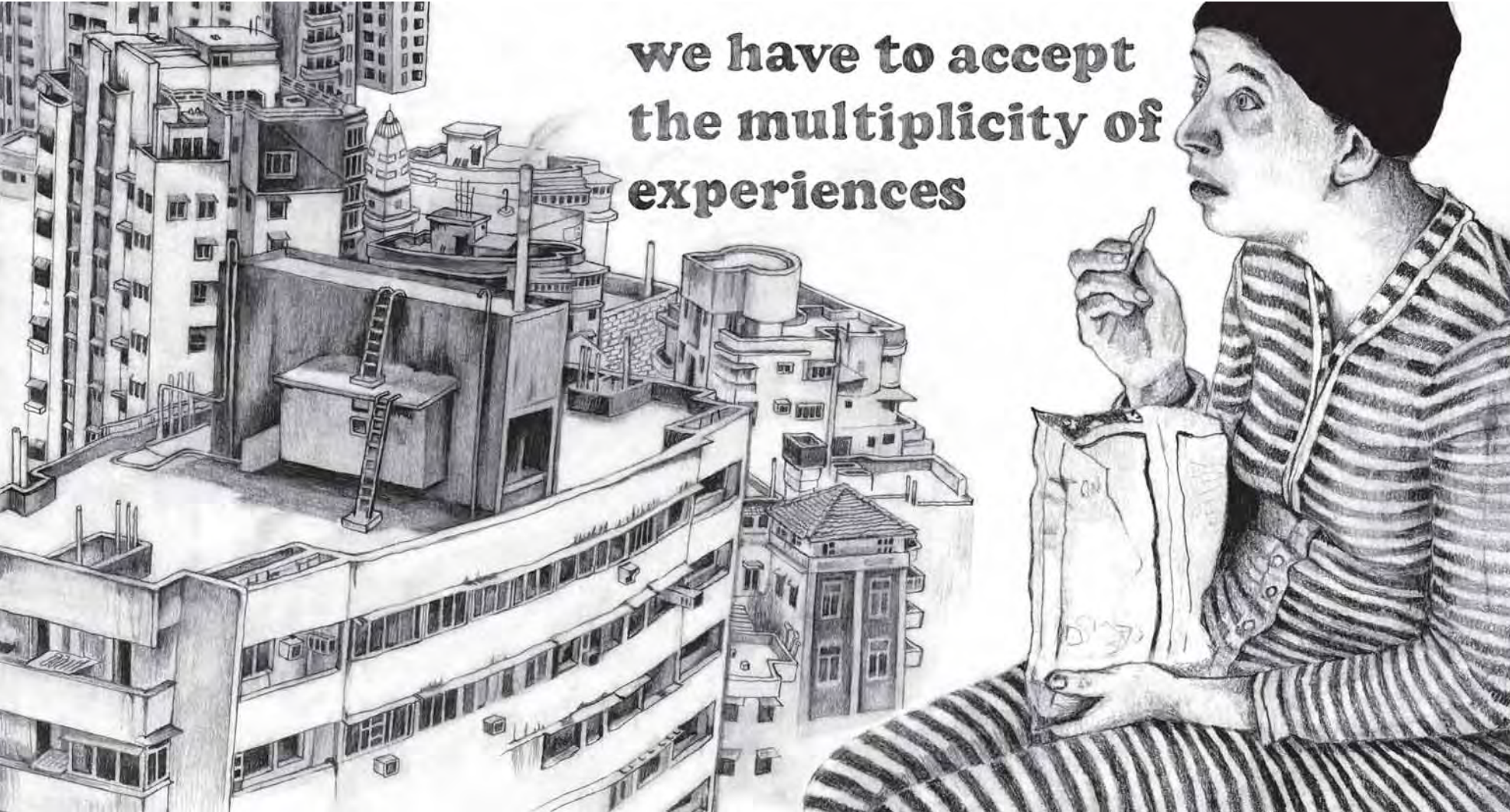
They don't understand what reaction is. They think it is a return to something positive, external, even natural. But the subject goes deeply inside, further down than the comfort and the family, or into the very uncanniness of the comfort and the family! Similarly, I wouldn't want to give utopia away to the liberals. Utopia is more than comfortably watching a movie about aliens from outer space or sending an instant message to Hong Kong! Utopia can force you from your home and turn you into a visitor of another world!

**Passenger:** Now I see. The revolution will mean to seclude oneself from the transparent magic world and to call everyone to visit, becoming like Zarathustra, a guest of guests.

**Wife:** Or to break down the barriers, to unite, and to build the institutions of true subjectivation: to teach people, how to rule themselves, how to heal themselves, and how to teach themselves...

**Passenger:** I agree, in principle. Ok, so let's toast to my return with this national Daghestani brandy, to the revolutionary union of all passengers and all drivers on the Earth!

**Wife:** Ok, and to our new Whirlpool, of course!





# Brian Holmes | Beyond the Global 1000

In December of 2005 in the city of Sao Paulo, at the annual conference of the International Committee for Museums and Collections of Modern Art (CIMAM), a German critic named Walter Grasskamp challenged the twentieth-century claim that the museum can be the institutional frame of a universal aesthetic language. He pointed instead to the globalisation of an essentially Western set of cultural codes, including the all-absorbing code of exoticism – a cannibalistic aesthetic whereby any sort of curiosity is admired because it is different. For Grasskamp, the art museum is comparable to the Wunderkammer, or curiosity cabinet. According to him, it’s very small – what you see all across the world, at the basis of modern art museums, are the same 100 artists. The rest are just curiosities.

The philosopher Maurizio Lazzarato spoke at the same event. He posits the museum as support base and relay point for an engagement with the outside – particularly with the massive technical infrastructures of globalization. The artist Ursula Biemann represented one of those infrastructures: the Baku-Tbilisi-Ceyhan oil pipeline, whose construction she documented in a video called *Black Sea Files*. And the psychoanalyst Suely Rolnik further suggested that artistic experiments can transform even the basic universalising structure of the Western ego, which negates the Other.

When I took the floor to say what follows, I was conscious of being among a small circle. We are obviously not part of the 100 major figures who have laid the foundations of the global museum institution; but maybe of a more modest Global 1000 who attempt to make the transnational art museum into a crossroads between art, the social sciences and political activism. We try to constitute critical laboratories, mobile theatres, virtual editing tables, and even experimental clinics for the exploration of possible alternatives. Because of the decay in the political, economic, and psychological conditions of human coexistence, our star has risen a little on the museum’s horizon. But we are constantly faced with the reality of the art system – which in Sao Paulo includes large numbers of millionaires whose money pays for it. Imagine me looking out at the faces of the millionaires as I describe some of the difficulties ahead for the Global 1000.

The first difficulty is that the art museum functions within a massive economy of tourism. Major cities compete for human and financial flows. The basic formula that urbanists have found for success is the “creative city,” which is home to the “creative class.” To become a magnet for tourism and finance, cities use cultural facilities and amenities to attract the most talented stockbrokers, scientists, engineers, entrepreneurs, musicians, and of course artists. These key people are estimated by the sociologist Richard Florida to make up a little less than 2% of the world’s population. That’s 100-150 million people who constitute what he calls the “super-creative class”: people making innovations in the economy of images and signs. Cities compete for these people.

This competition merely intensifies the age-old concern of economic elites for the accumulation of a superior kind of mental and sentimental agility that is stimulated by the Wunderkammer. Indeed, art has always been inseparable from upward mobility. Reflect on historian Immanuel Wallerstein’s idea that the very definition of the bourgeois is the desire to become an aristocrat: that is, to live off invested capital and thus acquire the leisure to partake in cultural life. A version of this historical dream is still an underlying motive for creative class people, even those who do graphic design or interior decorating. And this desire for culture is what provides the legitimacy, financial support and interest for the alternative practices of what I am jokingly calling the Global 1000.

Nonetheless, a contradiction invariably develops between the interests of the elites and a kind of art that is situated between aesthetics, the social sciences and politics. Let’s face it: this kind of art is not about upward mobility, and you can only hide that fact for so long. If we want to develop such practices further, then sources of support, legitimacy and interest must be found outside of the financial elites and outside the creative-class subjectivity they foster.

I’ll return to this in a moment. But first let’s consider the fact that global tourism is coming under siege – no doubt because of the huge inequalities it depends on. Richard Florida is now talking about “creative class war,” by which he means the revolt of the poor against the rich. It is significant that tourists have been directly attacked: in Luxor, Egypt; in Bali, Indonesia; in Sharm el-Sheikh, again in Egypt. It is also significant that in November of 2005, during the banlieue riots in France where I live, at least one prestigious theatre was attacked by some twenty youths. As a battering ram they used a Twingo, which used to be considered a chic creative-class car. One of the widely expressed fears during these riots in Paris was that levels of tourism would be negatively affected. However, they were not. Tourists are apparently getting used to this sort of thing.

I stress the point because I am concerned about the role that the so-called creative city can play in what might be called “the urbanisation of blindness.” The idea came to me in the southern coast of Spain, near the town of El Ejido, where I saw gleaming white tourist complexes being constructed right next to industrial greenhouses in which undocumented African labourers work under conditions of extreme exploitation. How is it that people can vacation in conditions of such severe inequality without being deeply troubled? What kinds of dark glasses do they put around their subjectivity so that they only see each other?

Everyone has noticed that since the late 1990s, activist-artists and social theorists have come to play an increasing but still minority role in contemporary art institutions. Now that race and class are on the table, I think we can also expect the resurgence in Continental Europe of the post-colonial practices and discourses that emerged in England after the so-cald race riots in Brixton in 1980. But whenever any of these political practices are developed to their fullest consequences, there will be a tendency for ideological conflict to develop, and for support to be withdrawn. In the face of this coming conflict, some collective preparation has to be done.

If people want to go on developing these kinds of risky, troubling, exploratory practices, the first thing needed is better criticism. We must spark a sophisticated debate about what the new practices actually are, how to define them, and how they transform the old definitions of art. Boris Groys has made some interesting moves towards renewing our understanding of the relations between the inside and the outside of the museum. Newness, in his theory, appears inside the museum; but it appears by bringing inside that which is outside. Groys thinks that we can only see the new in the outside after it has been brought inside. However, one can add a third direction to his two-way street, which is the abstract flow of ideas. Ultimately we should be dealing with the complex circulation between *participation* (experience of the outside, work with others, activism), *representation* (the visibility of the new realities in the museum) and *analysis and evaluation* (the work of social theory). Curiously, it is social theory that adds a truly

utopian dimension to art, because it asks if it is possible to go beyond small, one-off experiments and imagine something that would change society. Social theory projects what is inside back outside, in expanded and generalized forms.

The kinds of processes that link political engagement, aesthetic experimentation and social theory should be deliberately defined as one of the legitimate objects or fields of art. We need a concerted effort to show that such processes are vital, not to economic growth and upward mobility, but to peaceful coexistence, social justice and the sustainability of our lives in the gigantic global cities. We also need to theorise the kinds of society in which these experiments would really fit, because only then would we obtain a criticism that is adequate to the experimentation. If such an effort is not made I’m afraid it will be impossible to defend the kind of art that is drifting further and further away from its modernist definitions, and also from its status as an exciting or titillating exoticism.

The final point has to do with the actual programme of the transnational art museum. The differentiation of social sites for lectures, screenings, performances, and even exhibitions is something that should be pursued. The museum must find ways to project its activity outside its walls and to involve people who are not necessarily among the creative-class consumers. Only in this way can a real taste be developed for the complex human texture of activities that traverse aesthetics, politics and social theory.

If this effort is not made, I’m afraid that the Global 1000 will remain in the position that has been sketched out by the theorists of so-called relational art. That is the position where a relatively narrow transnational network of participants take each other as objects of exotic fascination within a contemporary Wunderkammer, while remaining more-or-less blind to the increasing decay of the world outside. I can assure you that this self-satisfied position felt very uncomfortable in November of 2005, while the fires of the banlieue riots were blazing all over France. And I also wonder what the millionaires thought just six months after I spoke in Sao Paulo, when drug gangs operating directly out of the prisons ordered an attack on the elites, trashing a hundred police stations, burning 75 buses and paralyzing a city of 18 million people, airports included. Could there be good reasons for artists and theorists to imagine a different society?

*Brian Holmes is an art and culture critic, translator and political activist, living in Paris*

# Брайан Холмс | За пределами всемирной тысячи

В декабре 2005 года в Сан-Паулу на ежегодной конференции Международного комитета музеев и собраний современного искусства (СИАММ) немецкий критик по имени Вальтер Грасскамп поставил под сомнение притязание двадцатого века на то, что музей может стать институциональной основой универсального эстетического языка. В противовес он указал на глобализацию западного по существу набора культурных кодов, включая и всепоглощающий код экзотики – каннибальской эстетики, в соответствии с которой восторгаются любой диковиной, поскольку та отличается. Для Грасскампа художественный музей сравним с Wunderkammer’ой, или кабинетом диковин. На его взгляд, он крайне мал – по всему миру, в основе собраний музеев современного искусства, вы видите одну и ту же сотню художников. Остальные суть всего лишь диковины.

На той же конференции выступал философ Маурицио Лаззарато. Он постулирует музей как опорную базу и перевалочный пункт для взаимодействия с внешним миром – особенно с крупными техническими инфраструктурами глобализации. Художница Урсула Бьеманн представила одну из таких инфраструктур: нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан строительство которого она запечатлела на видео «Досье Черного моря». А психоаналитик Суэли Ролник выдвинул предположение, что художественные эксперименты способны трансформировать даже базовую универсализирующую структуру Западного эго, сводящую Другого на нет.

Когда я взял слово, чтобы произнести нижеследующее, я понимал, что принадлежу узкому кругу. Мы, безусловно, не входим в сотню главных фигур, заложивших основы глобальной музейной организации; но, может статься, – в более скромную всемирную тысячу тех, кто пытается превратить транснациональный художественный музей в перекресток, где встречаются искусство, общественные науки и политический активизм. Мы стараемся создавать критические лаборатории, передвижные театры, виртуальные монтажные столы и даже экспериментальные клиники для исследования возможных альтернатив. В силу упадка политических, экономических и психологических условий человеческого сосуществования, наша звезда едва ли вззошла на небосклоне музеев. Но мы постоянно сталкиваемся с системой искусства – в Сан-Паулу эта система включает в себя большое число миллионеров, чьи деньги ее оплачивают. Вообразите, как я смотрю в глаза этих миллионеров, описывая некоторые трудности, стоящие перед этой всемирной тысячей.

Первая трудность заключается в том, что художественный музей функционирует внутри мощной экономики туризма. Крупнейшие города конкурируют за людские и финансовые потоки. Найденная урбанистами базовая формула успеха – это «творческий город», который является домом для «творческого класса». Чтобы стать притягивающим туризм и финансы магнитом, города используют благоприятные культурные условия и красоты, чтобы привлечь наиболее талантливых биржевых маклеров, ученых, инженеров, антрепренеров, музыкантов и, конечно, художников. По оценке социолога Ричарда Флориды, эти ключевые люди составляют немногим менее двух процентов от населения планеты. Это 100-150 миллионов человек, образующих то, что он называет «сверх-творческим классом»: людьми, создающими инновации в экономике образов и знаков. За этих-то людей и конкурируют города.

Эта конкуренция лишь усиливает вековую заботу экономических элит об аккумуляции выдающейся интеллектуальной и эмоциональной подвижности, подстегиваемой кабинетом диковин. В самом деле, искусство всегда было неразрывно связано с вертикальной мобильностью. Вспомните идею историка Эммануэля Валлерстайна, что само определение буржуазности – это желание стать аристократом: то есть жить за счет капитала и тем самым добиться законного права участвовать в культурной жизни. Разновидность этой исторической мечты по-прежнему является основополагающим мотивом для творческого класса людей, даже для тех, кто занят графическим дизайном и украшением интерьеров. Именно это желание культуры и обеспечивает легитимность, финансовую поддержку и интерес к альтернативным практикам тех, кого я в шутку называю всемирной тысячей.

Тем не менее, между интересами элит и той разновидностью искусства, что располагается между эстетикой, общественными науками и политикой, всегда возникает противоречие. Посмотрим ему в лицо: суть этого рода искусства отнюдь не в вертикальной мобильности, и



вы лишь до некоторых пор можете срывать этот факт. Если мы хотим и дальше развивать подобные практики, необходимо найти поддержку, легитимность и интерес вне финансовых элит и вне поощряемой ими творчески-классовой субъективности.

Через минуту я к этому еще вернусь. Но сначала давайте примем во внимание тот факт, что глобальный туризм входит в трудный период – несомненно, по причине колоссального неравенства, от которого он зависит. Ричард Флорида говорит сейчас о «войне творческого класса», под которой он имеет в виду восстание бедных против богатых. Знаменательно, что туристов атаковали напрямую в Луксоре (Египет); в Бали (Индонезия); в Шарм-эль-Шейхе (снова Египет). Точно так же знаменательно, что в ноябре 2005 года, во время бунтов предместий во Франции, где я живу, около двадцати подростков атаковало по меньшей мере один престижный театр. В качестве тарана они использовали Твинго, некогда считавшийся модным автомобилем у творческого класса. Одним из широко распространенных страхов во время этих беспорядков в Париже был страх, что они отрицательно скажутся на индустрии туризма. Этого, однако, не произошло. Туристы явно привыкают к подобным вещам.

Я подчеркиваю этот момент, потому что меня беспокоит та роль, которую так называемый творческий город способен сыграть в том, что можно назвать «урбанизацией слепоты». Эта мысль пришла ко мне на южном побережье Испании, близ городка Эль-Эхидо, где я видел сверкающие белизной туристические комплексы, строящиеся по соседству с промышленными теплицами, в которых незарегистрированные африканские рабочие трудятся в условиях крайней эксплуатации. Как это возможно, что люди могут проводить отпуск в условиях такого жестокого неравенства и при этом не чувствовать никаких угрызений? Какие темные очки надели они на свою субъективность, так что видят только друг друга?

Все заметили, что с конца 1990-х художники-активисты и теоретики общества стали играть возрастающую, но все еще маргинальную роль в институциях современного искусства. Сейчас, когда на повестке дня расовые и классовые проблемы, я полагаю, можно ожидать возрождения в континентальной Европе пост-колониальных практик и дискурса, возникших в Англии после так называемых расовых бунтов в Брикстоне в 1980 году. Но где бы эти политические практики не развились до своих окончательных последствий, появится и тенденция к развитию идеологического конфликта и к отказу от поддержки. Перед лицом этого приближающегося конфликта необходимо проделать некоторые коллективные приготовления.

Если люди хотят продолжать развивать эти рискованные, причиняющие беспокойство, исследовательские практики, первым делом встает необходимость в более выверенной критике. Мы должны разжечь непростые дебаты о том, чем на самом деле являются новые практики, как их определить и каким образом они трансформируют старые определения искусства. Борис Гройс сделал интересные шаги в направлении обновления нашего понимания отношений между внутренним и внешним музеем. Новизна, по его теории, возникает внутри музея; но возникает она путем привнесения внутрь того, что находится вне него. Гройс полагает, что увидеть новое вне музея мы можем только после того, как оно было перенесено внутрь. Между тем, можно добавить третье направление к этой двухсторонней улице, и это –

абстрактный поток идей. В конечном счете, нам следует иметь дело со сложным круговоротом между *участием* (опыт внешнего, работа с другими, активизм), *репрезентацией* (зримость новых реальностей в музее) и *анализом и оценкой* (работа социальной теории). Любопытно, что именно социальная теория добавляет искусству подлинно утопическое измерение, потому что задается вопросом, возможно ли выйти за пределы небольших, одноразовых экспериментов и вообразить нечто, что изменит общество. Социальная теория проецирует то, что внутри, обратно вовне – в расширенных и обобщенных формах.

Такого рода процессы, увязывающие политическую вовлеченность, эстетический эксперимент и социальную теорию, надлежит осознанно определить как легитимную цель или поле искусства, наряду с другими. Мы нуждаемся в согласованных усилиях, чтобы показать, что такие процессы жизненно необходимы – не для экономического роста и вертикальной мобильности, но для мирного сосуществования, социальной справедливости и устойчивости нашей жизни в гигантских глобальных городах. Мы также должны создать теорию общества, которому эти эксперименты действительно подойдут, потому что только тогда мы приблизимся к критике, адекватной эксперименту. Если подобные усилия не предпринять, боюсь, невозможно будет защитить разновидность искусства, которое все дальше и дальше отходит от модернистских определений, а также от своего статуса возбуждающей и щекочущей нервы экзотики.

Последний пункт имеет отношение к актуальной программе транснационального художественного музея. Дифференциации общественных мест для проведения лекций, показов, перформансов и даже выставок – вот чего мы должны добиваться. Музей должен найти пути переносить свою деятельность за пределы собственных стен, чтобы вовлекать людей, которые необязательно входят в число творческого класса такой деятельности, которая пересекает эстетику, политику и социальную теорию.

Если этих усилий не предпринять, боюсь, всемирная тысяча останется в положении, очерченном теоретиками «эстетики отношений». Это положение, где относительно узкая транснациональная сеть участников воспринимает друг друга как объектов экзотичной притягательности в современном кабинете диких, оставаясь в то же время более или менее слепыми к нарастающему упадку во внешнем мире. Могу вас уверить, что эта самодовольная позиция почувствовала себя весьма неуютно в ноябре 2005 года, когда во всех пригородах Франции полыхали костры бунтов. Еще я хотел бы знать, что думали миллионеры через каких-нибудь шесть месяцев после моего выступления в Сан-Паулу, когда наркомафия, действуя напрямую из тюрьмы, приказала атаковать элиты, в результате чего были разгромлены сотня полицейских участков, сожжены семьдесят пять автобусов и парализован город с населением 18 миллионов человек, включая аэропорт. Может ли у художников и теоретиков иметься лучший повод, чтобы вообразить иное общество?

перевод Александра Скидана

Брайен Холмс - арт критик, переводчик и политический активист, живет в Париже

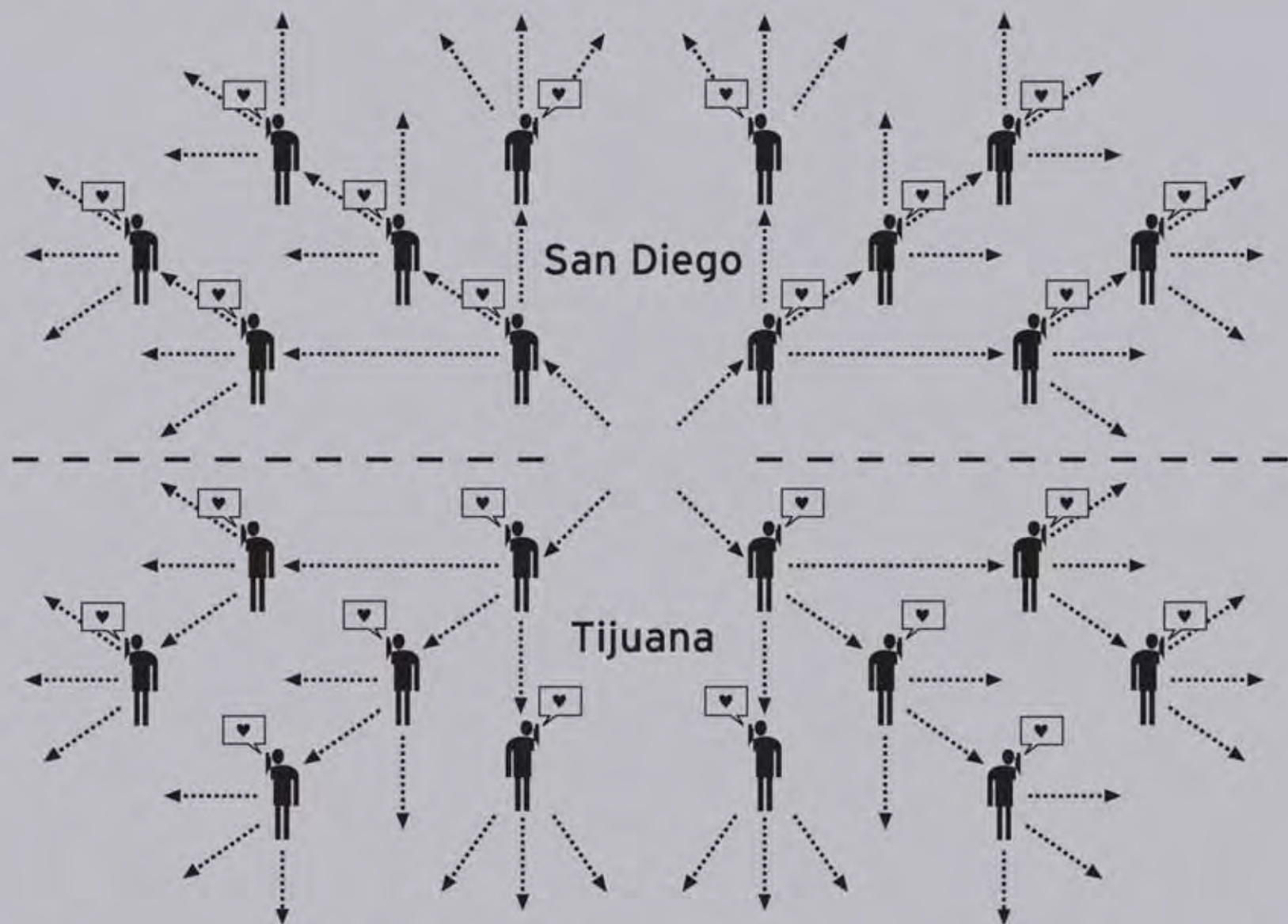


ARIS PRABAWA /THE INDONESIAN ART COLLECTIVE “TARING PADI”/ | АРИС ПРАБАВА /ГРУППА “ТАРИНГ ПАДИ”/  
THE WAR IS BIGGER THAN THE PEACE | ВОЙНА БОЛЬШЕ ЧЕМ МИР



# The Good Rumor Project

a project by Måns Wrangé/OMBUD



**A social experiment that seeks to invert the more common negative effects of rumor though the construction of a “good rumor” that is systematically spread and tracked as it evolves through the Mexican and American border.**

## Background of the rumors

Rumors. Everywhere there are people there are rumors. Rumors tend to arise and spread in situations of social, economic and political change. Rumor could in this respect be defined as a reactionary phenomena. This makes also rumor one of the most effective means of influencing people. Rumors are thus systematically employed in wars, in business, in the stock market, as well as in politics.

But rumors not only distort reality, it also create reality. Several scientific studies suggest that rumors often help to develop a positive self-image of one's own social group, by ascribing negative characteristics to people outside this group. As a result, rumors often reinforce the sense of difference between national, ethnic and socio-economic groups. Rumor is, in fact, a significant contributing factor in acts of violence, prejudice and discrimination.



## Манс Вранге/ОМБУД | Проект «Хорошие слухи»

Социальный эксперимент, стремящийся обратить общепринятое негативное воздействие слухов через создание «хороших слухов», которые систематически распространяются и отслеживаются по мере их прохождения через американо-мексиканскую границу.

### Подоплека слухов

Слухи. Везде, где есть люди, возникают и слухи. Слухи имеют тенденцию распространяться в ситуациях социальных, экономических и политических перемен. В этом отношении слухи можно определить как реакционное явление. Это делает слухи одним из самых эффективных инструментов влияния на людей. Поэтому слухи систематически используются в войнах, в бизнесе, на бирже, равно как и в политике.

Но слухи не только искажают реальность, они ее также и создают. Ряд научных исследований показывает, что слухи часто помогают развить положительное представление о себе у той или иной социальной группы путем приписывания отрицательных характеристик людям, которые в эту группу не входят. В результате, слухи часто усиливают чувство отличия между национальными, этническими и социо-экономическими группами. Слухи, на деле, это значимый фактор, способствующий вспышкам насилия, предрассудкам и дискриминации.

### Создание слухов

Было запущено два рода слухов: одни – о людях в Тихуане, которые распространяются в Сан-Диего, другие – о людях в Сан-Диего, которые распространяются в Тихуане. В отличие от «нормальных» слухов, исходящих от людей непохожих на тех, к которым слухи относятся, «хорошие слухи» были придуманы в диалоге с их объектами. Иными словами, люди из Тихуаны придумали слухи о Тихуане, а люди из Сан-Диего придумали слухи о Сан-Диего. Это было сделано благодаря серии опросов фокус-групп, методу, который широко применяется в маркетинге, а также в политике, для сбора данных и информации о том, что люди думают по поводу тех или иных проблем. Одна фокус-группа опрашивалась в Тихуане, другая – в Сан-Диего. Каждая фокус-группа состояла из ограниченного числа отобранных по демографическим принципам представителей от жителей Сан-Диего и Тихуаны.

Опросы фокус-групп были спланированы и проводились профессиональными модераторами, работающими с целевыми группами: профессором доном Сциглимпаглия из Сан-Диего и Мануэлем Шаварином из Тихуаны. Результаты опросов фокус-групп в дальнейшем послужили материалом для создания слухов совместными усилиями антропологов, маркетологов, художников и работников средств массовой информации из Тихуаны и Сан-Диего.



## Construction of the rumors

Two rumors have been constructed: One is about people in Tijuana that is being spread in San Diego and one which is about people in San Diego that is being spread in Tijuana. In contrast to "normal" rumors, which originate from people dissimilar to the people that the rumors are about, the "good rumors" have been created in dialogue with the subjects of the rumors. That is to say, people from Tijuana created the rumor about Tijuana and people from San Diego created the rumor about San Diego. This was achieved by holding a series of focus groups, a method that is commonly used in marketing as well as in politics for compiling data and information about how people think about various topics and issues. One focus

group was conducted in Tijuana and one was held in San Diego. Each focus group consisted of a limited group of demographically targeted representatives of people from San Diego and Tijuana.

The focus group sessions were planned and led by professional focus group moderators, Professor Don Sciglimpaglia from San Diego and Manuel Chavarin from Tijuana. The results of the focus group sessions were used as a basis for the construction of the rumors, which was through a collaborative process involving people from diverse fields, including anthropology, marketing, art, and media, from Tijuana and San Diego.

The result of the focus group sessions then functioned as material for the construction of the rumor, which was done collaboratively by people from anthropology, marketing, art, and media from Tijuana and San Diego.



## Spreading of the rumors

The two "good rumors" are being systematically spread in San Diego and Tijuana by means of a strategy that draws on ideas developed in recent sociological research on how influential ideas are spread through people's social networks.

People from every level of society, who are influential in their social groups, have been targeted and contacted by the project group. These socially influential people (referred to in the project as "nodes") were invited to collaborate in the project by spreading the

"good rumors". In addition to this, the nodes have also been asked to invite three new people to also participate as nodes by continuing to spread the rumor and by inviting three new nodes. As each successive generation of nodes recruits three additional nodes, the rumor continues to spread exponentially throughout the San Diego-Tijuana border region.



## Tracking the rumors

Each participating node has also been asked to fill in a few demographic facts on the project's website ([www.thegoodrumor.com](http://www.thegoodrumor.com)) in order for the rumor to be tracked geographically as well as socio-economically. Via an interactive sociogram on the web-site, the nodes, as well as anyone who is interested in the project, can follow how the rumor travels from person to person in the border area.

**The Good Rumor Project** was commissioned by Insite\_05 in San Diego and Tijuana ([www.insite05.org](http://www.insite05.org)), curated by Osvaldo Sánchez, artistic director, and Donna Conwell, associate curator. Collaborating partners in Tijuana and San Diego: Focus groups: Professor Don Sciglimpaglia, San Diego State University; Manuel Chavarin, VC Asociados; Joy Espiritu, Plaza Research / Rumor construction: Professor Fiamma Montezemolo, Professor Don Sciglimpaglia, Donna Conwell and Enrique Herrera, Metro Publicidad / Interactive rumor tracking data bank and web site development: Dream Addictive Laboratory / Video documentation: Yonke Art. Project group in Stockholm: Måns Wrangé, Igor Isaksson, Janet Colletti, Ingela Ekwall and Maria Karlsson / Design: Igor Isaksson and Måns Wrangé / Translations: William Jewson

This version of the project has been produced for **What is to be done?**

**OMBUD** is a think tank that consists of a network of persons from the from the arts, humanities and social science led by the artist Måns Wrangé. [www.ombud.org](http://www.ombud.org)

### Распространение слухов

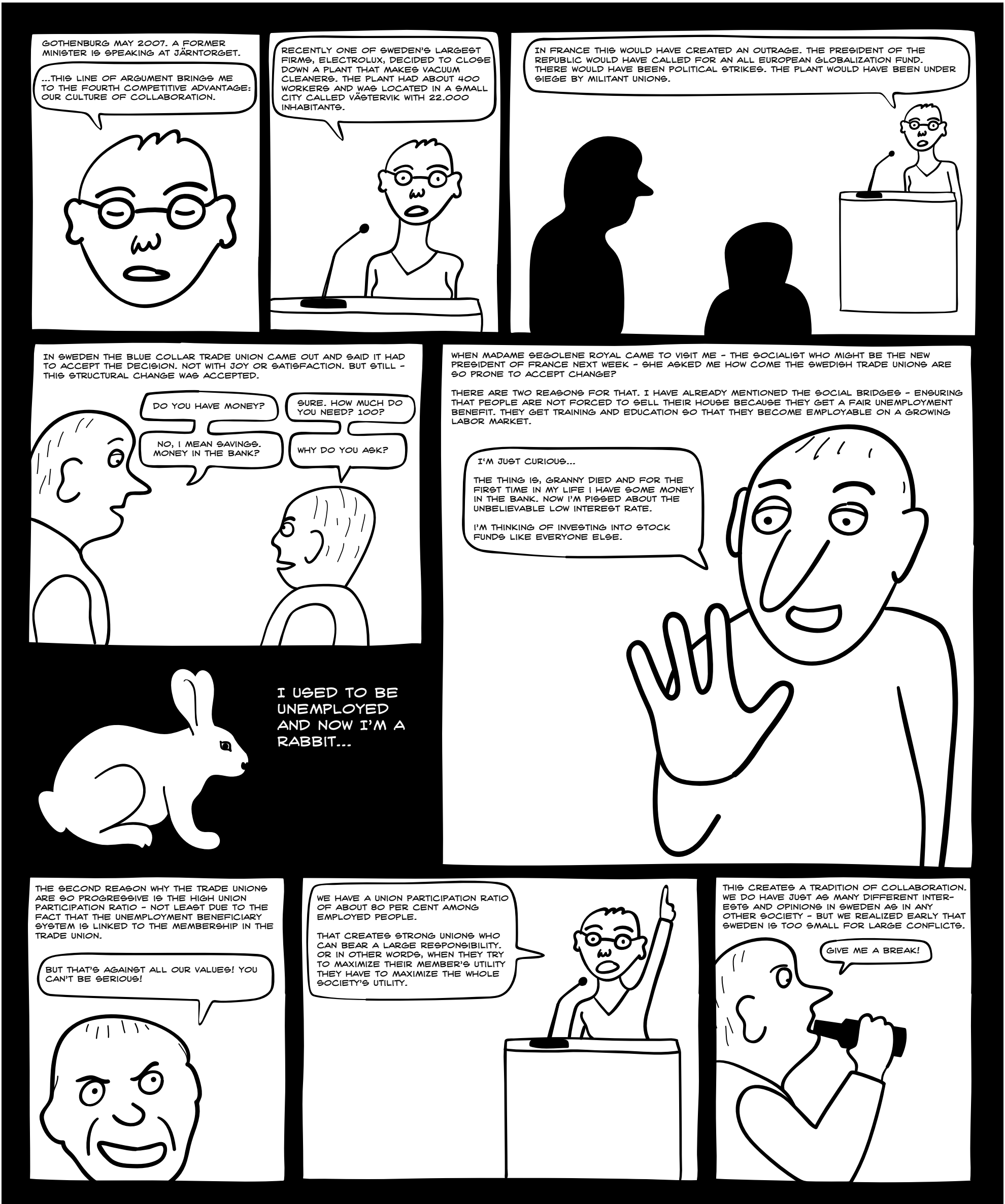
В Тихуане и Сан-Диего систематически распространяются два вида «хороших слухов». Это делается при помощи стратегии, опирающейся на идеи, разработанные в новейших социологических исследованиях, посвященных распространению влиятельных идей по каналам социальных связей. Организаторы проекта вычислили и вышли на контакт с людьми из разных уровней общества, влиятельными в своей социальной группе. Эти социально влиятельные люди (называемые в проекте «узлами») были приглашены принять участие в проекте – стать распространителями «хороших слухов». Вдобавок, их попросили пригласить еще трех человек, которые тоже участвовали бы в проекте в качестве «узлов», распространяющих слухи дальше и в свою очередь приглашающих еще трех «узлов». По мере разрастания сети «узлов», слухи лавинообразно распространяются по всему приграничному району между Тихуаной и Сан-Диего.

### Отслеживание слухов

Каждого участвующего в проекте «узла» попросили также предоставить несколько демографических фактов на сайте проекта ([www.thegoodrumor.com](http://www.thegoodrumor.com)), для того чтобы слухи можно было проследить как географически, так и социо-экономически. С помощью интерактивной социогаммы на электронном сайте, «узлы», как и любые заинтересованные в проекте лица, могут проследить пути слухов от человека к человеку в приграничной области.

**ОМБУНД** – это исследовательский центр, состоящий из разветвленной сети людей, работающих в сфере искусства, гуманитарных и общественных наук, возглавляемый художником Мансом Вранге. [www.ombund.org](http://www.ombund.org)





Гётеборг, май 2007 года. бывший министр выступает на собрании.

...Эта логика аргументации подводит меня к четвертому конкурентноспособному преимуществу: нашей культуре сотрудничества.

Одна из крупнейших шведских фирм, «Электролюкс», недавно решила закрыть завод, производящий пылесосы. На заводе работало около четырехсот рабочих, он располагался в городке Вестервик с населением в 22 тысячи человек.

Во Франции это вызвало бы взрыв возмущения. Президент Республики обратился бы за помощью к европейскому отделению Международного валютного фонда. Начались бы политические забастовки. Завод захватили бы боевые профсоюзы. В Швеции же профсоюз рабочих вышел и сказал, что должен принять это решение. Без

особой радости или удовольствия, но это структурное изменение было принято.

У тебя есть деньги?  
Конечно, сколько тебе нужно? Сто?  
Нет, я имею в виду сбережения.  
Счет в банке.  
А почему ты спрашиваешь?

КОГДА-ТО Я БЫЛ  
БЕЗРАБОТНЫМ,  
А ТЕПЕРЬ Я  
ЗАЙЧИК-ПОПРЫГАЙЧИК...

Когда меня посетила с визитом мадам Сеголэн Роял – социалистка, кандидат в президенты Франции, – она спросила меня, как случилось, что шведские профсоюзы столь покладисты?

Тому есть две причины. Я уже упоминал социальные гарантии: людям не придется продавать свои дома, потому что им выплатят значительные пособия по безработице. Плюс обучение и образование, что позволит им найти работу на растущем рынке труда.

Да так, любопытно...  
штука в том, что в кои то веки у меня есть в банке кое-какие деньги, и я в бешенстве от низкой процентной ставки. думаю вложить их в акции, как это делают все остальные.

Вторая причина, почему наши профсоюзы такие прогрессивные, это высокий процент членства в профсоюзе – не в последнюю очередь благодаря тому, что система пособий по безработице связана с членством в профсоюзе.

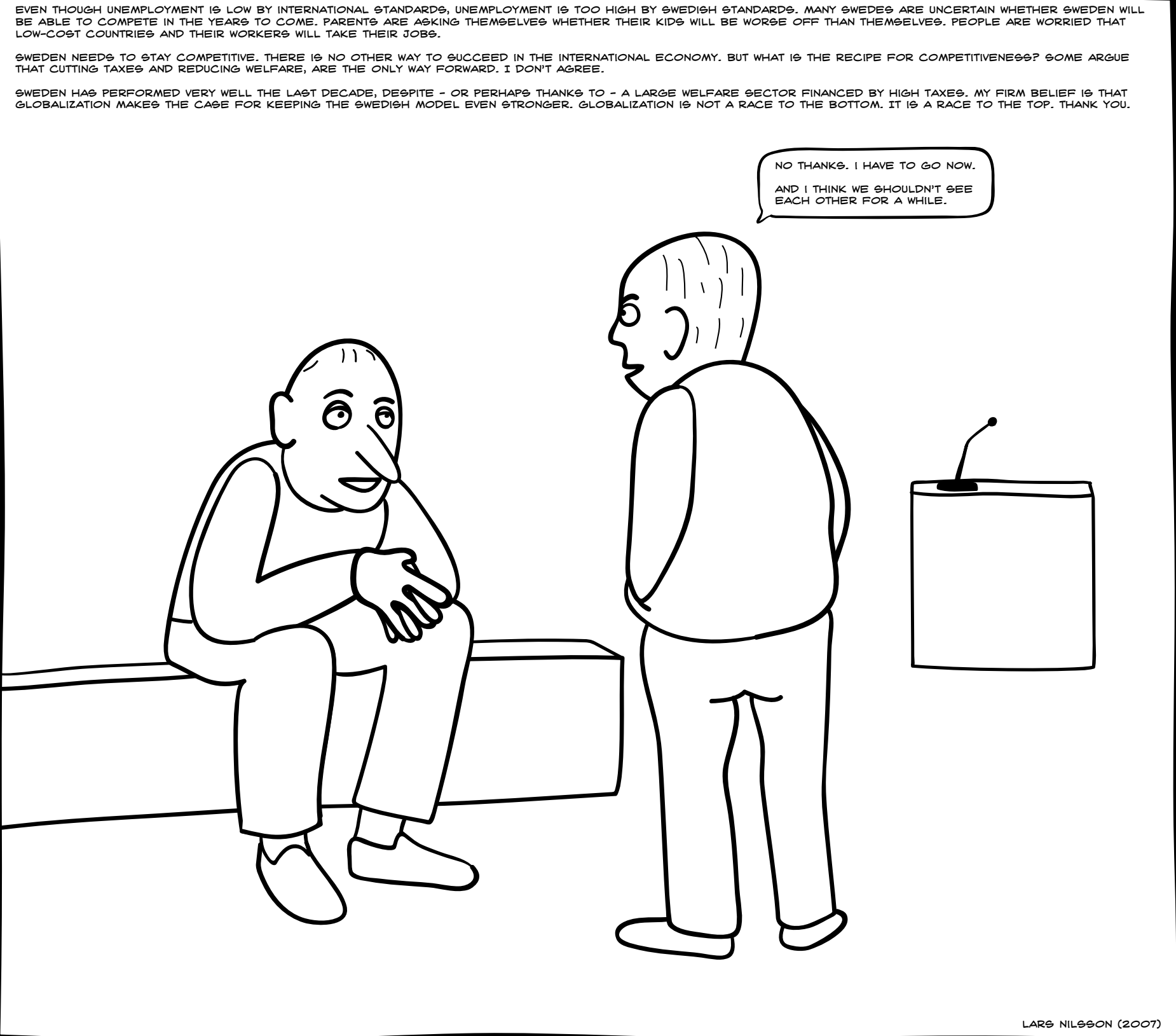
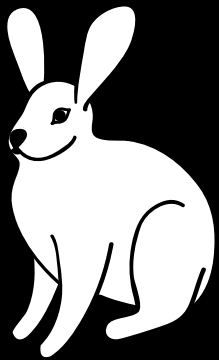
ты шутишь? теперь я понимаю, что они имеют в виду, когда говорят: «каждый – капиталист»...

Среди наемных работников 80 процентов являются членами профсоюза. Это способствует усилению профсоюзов, которые могут нести большую ответственность. Другими словами, когда они пытаются извлечь наибольшую пользу из своих членов, они должны извлечь максимальную пользу из всего общества в целом.

Так создается традиция сотрудничества. Да, у нас в Швеции столько же разных интересов и мнений, как и в любом другом обществе, но мы давно поняли, что Швеция слишком мала для больших конфликтов.

Меня достало!





LARS NILSSON (2007)

Как я сказал, идея в том, чтобы защищать людей. А не рабочие места.

*по крайней мере, половина пойдет в фонды, которые специализируются на высоком риске, на развивающихся странах. таких как Балканы и Восточная Европа.*

Обеспечивая людям социальные гарантии, возможность их перехода со старой и уже не конкурентноспособной работы на новую, более конкурентноспособную, мы получаем взамен готовность к переменам и открытость среди широкой общественности.

*Я буду придерживаться только добросовестных инвестиций, конечно. никакого оружия, никакой порнографии!*

Я бы солгал вам, если бы сказал, что эта система означает, что шведы любят перемены. Не любят они перемен. Но они их принимают.

*не пытайся вызвать у меня чувство вины! могу я угостить тебя обедом? как насчет суши?*

Хотя уровень безработицы и низкий по международным стандартам, слишком высокий по шведским стандартам. Многие шведы не уверены, будет ли Швеция в ближайшие годы конкурентноспособной. Родители задаются вопросом, не окажутся ли их дети в худшем положении, чем они сами. Люди боятся, что страны с более низким уровнем жизни и их дешевые рабочие займут их рабочие места. Швеция должна оставаться конкурентноспособной. Другого пути преуспеть в международной экономике нет. Но каков рецепт конкурентноспособности? Некоторые утверждают, что единственный путь вперед – это снижение налогов и сокращение социального обеспечения. Я не согласен. Последние десять лет Швеция развивалась очень неплохо, несмотря – или, возможно, благодаря – большому сектору социального обеспечения, который финансировался от высоких налогов. Мое твердое убеждение состоит в том, что глобализация дает возможность сделать шведскую модель еще более сильной. Глобализация – это не путь вниз. Это путь вверх. Спасибо.

*не стоит благодарности. а теперь я должен идти. полагаю, некоторое время нам не стоит встречаться*



Виктор Мизиано беседует с Давидом Риффом | Критика в подвешенности >>>

**Давид Рифф:** За последние три-четыре года московская сцена современного искусства претерпела заметную эволюцию, вызвавшую появление новых галерей, фондов, институций и крупных событий. Гомогенизация публичной сферы послужила предвестием процессов консолидации, идущих рука об руку с притоком капитала в поисках репрезентативных культурных вложений. Джентрификация, надвигавшаяся на Москву в течение последних десяти лет, сейчас в полном разгаре. Нередко возникает впечатление, что от антрепренерской логики этого процесса с его всепроникающими гламурными результатами никуда не деться. Но когда люди пытаются примириться с этой ситуацией, они вдруг прибегают к всеохватным понятиям: новая ситуация списывается на счет «рынка», фигуры речи столь же однородно-монолитной, что и «власть». Русские либералы привыкли жаловаться. Какой реалистичный взгляд помог бы нам избежать понимания новой культурной индустрии как новой версии все той же старой «дурной тотальности»?

**Виктор Мизиано:** За последние годы институциональная сцена в Москве действительно изменилась. Однако не будем преувеличивать масштабы этих изменений, а главное – природа их лишена принципиально новой симптоматики. Все это – осуществление той модели культурного развития, которая была предложена апологетами неоллиберальных реформ начала 90-х. В отличие, к примеру, от Испании, где постфранкистские реформаторы сделали ставку на становление публичной инфраструктуры, в России с самого начала речь пошла о демонтаже публичной сферы: перспектива связывалась со становлением частной инфраструктуры, преимущественно рыночного характера. Ведь именно «рынок», представлявший собой в контексте официальной идеологии тех лет категорию столь же тотальную, как и «власть», представлялся универсальным источником решения всех проблем.

И в самом деле – сегодня большая часть новых инициатив носит частный характер. И даже те инициативы, которые иницирует государство, исповедуют ту же идеологию: делая ставку не на стационарную, прозрачную, подконтрольную сообществу инфраструктуру, а на «инвестиционные проекты», отданные на откуп чиновникам-бизнесменам, оперирующим, впрочем, бюджетными деньгами.

**Д.Р.:** Мне всегда это казалось парадоксом: провозглашение «исключительных мер развития» идет рука об руку со структурами параллельных инвестиций в разнообразные краткосрочные начинания и личные инициативы. Их единственный общий знаменатель – это что все они спускаются разными ветвями госкапиталистического конгломерата, чья

левая рука не знает, что творит правая. С другой стороны, можно привести доводы в пользу того, что история бюрократии показывает, что эта «неэффективность» на деле является прекрасным механизмом контроля: вы получаете неопределенное «безликое» тело власти, способное отыгрывать реакции и контр-реакции с целью увековечить весьма специфическую форму единства. Эта симптоматика с предельной ясностью проявилась во время последней Московской Биеннале, которая смотрелась как «проект-аккумулятор», полигон для новых корпоративных и индивидуальных стратегий по «сливанию» старых потенциальностей. Сталкиваясь со стойким неприятием, современное искусство вынуждено себя легитимировать. Но эти легитимации были поверхностны, нерешительны, неопределенны, скоротечны, а главное, они противоречили друг другу. Реального субъекта у них не было. Отсутствие дискурсивной рамки, кажется, подтверждало центральное утверждение биеннале: оно есть то, что оно есть – современное искусство. Процесс без субъекта... наслаждайтесь!

**В.М.:** Думаю, что уже это наблюдение должно увести нас от восприятия культурной индустрии как дурной «тотальности». Достаточно вскрыть противоречия актуального положения вещей, чтобы понять, насколько противоречиво и само это восприятие.

Источником же противоречий является по большей части то, что возникающая культурная индустрия строится на последовательном антиинтеллектуализме, на демонтаже экспертного сообщества. С самого начала вслед за медиализацией политики ставка делалась на медиализацию культурного и экспертного поля. Заметь: масс-медиальная культурная и художественная критика предельно лояльна сложившемуся прядку вещей, при том, что в тех же средствах информации бытует несравненно более принципиальная и радикальная критика общественных и экономических процессов. Медиализация – это, разумеется, повсеместный атрибут неоллиберального прядка, однако в других странах эта тенденция не является полной заменой всех иных форм бытования информационных и культурных смыслов и встречает все более набирающую силу оппозицию. В России же, где экспертная инстанция сведена на нет, в результате феномен современного искусства остается не проясненным. История, специфика, параметры, базовые факты этого явления остаются фактически неосвоенными и не ретранслируемыми! Первое следствие из этого – упомянутая тобой неустойчивость, эфемерность возникающей инфраструктуры. Не связывая с художественным производством ценностного начала, новые инициативы, в том числе и государственные, чувствуют себя

свободными от повышенной за них ответственности. А потому мы видим, как быстро возникают и исчезают эти инициативы, как они быстротечно и радикально меняют свою политику и своих лидеров, насколько по большей части разочаровывающи их программы, как постоянно они сочетают риторику меценатов с желанием заработать даже на мелочах...

**Д.Р.:** С другой стороны, каждый в постсоветском современном искусстве сетует на отсутствие хороших книг, надлежащих образовательных программ и системы координат. Но ничего не меняется, потому что каждая попытка провести различие оказывается еще одним эфемерным проектом. Объяснение этих неудач двоякое: с одной стороны, сама ситуация инертна, но с другой, «сверхбыстрый» оборот экономики проектов почти не оставляет времени для подлинной рефлексии... Дорогостоящие новые инициативы затеваются, а затем бросаются; все тонет в нефтяном болоте.

**В.М.:** То, что эти lamentации повсеместны, вполне понятно. Ведь последовательно игнорируя исследовательско-интеллектуальные задачи, новая инфраструктура склонна отождествлять ценность с ценой, а потому присущая полноценному рынку диалектика цены и ценности фактически не работает. А это уже признак неполноценного рынка, что, как следствие, ведет ко все большему разрыву рынков локального и интернационального. На это, кстати, еще мало кто у нас обратил у нас внимание: пока все слишком увлечены фактом более активного участия в международных ярмарках и первыми там продажами...

**Д.Р.:** Но опять-таки, на поверхности в последние годы произошли перемены к лучшему, по крайней мере, в отношении количества изданных книг и организованных выставок. Это отражает растущий запрос элиты на новые идеологии для оправдания международного статуса своей национальной экономики с ее противоречивой историей и неопределенным будущим... Путаница ценности и цены, потребительской стоимости (искусство как репрезентативно-когнитивная техника или практика) с товарной ценой (искусство как дорогой фетиш) является, похоже, характерной чертой нуворишей. Большое количество «новых вещей», которые мы видим, выглядят как брикколлаж, за который переплатили, симпровизированный, а затем объявленный легитимным в качестве новой мифологии. Я нахожу любопытным, что многие принимают это как повод провозгласить бесполезность критики как таковой; поскольку все схвачено, мы можем с тем же успехом предоста-вить рынку делать свое дело, уповая на что-то вроде художественного или политического «чуда»... Неужто так было всегда?



Viktor Misiano in Conversation with David Riff | Suspending Criticism: Criticism in Suspense

**David Riff:** In the last three or four years, Moscow's contemporary art scene has undergone some intense development, bringing new galleries, foundations, institutions, and big events. The homogenization of the public sphere has heralded processes of consolidation that go in hand in hand with an influx of capital in search of representative cultural investments. A gentrification that has been approaching Moscow for the last 10 years is now in full swing. It often seems like there is no escaping this process' entrepreneurial logic and its pervasively glossy results. But when people try to come to terms with the new situation, they find themselves resorting to blanket notions: it is chalked up to the "market," a figure of speech that is just as homogeneous as the "power" Russian liberals used to lament. Which realistic view could help us avoid conceiving of the new culture industry as a new version of the same old "bad totality"?

**Viktor Misiano (VM):** The institutional scene in Moscow really has changed over the last years. Still, let's not exaggerate the scale of these changes, and most importantly, let's note that they are not qualitative and contain no symptomatique that could be considered fundamentally new. Instead, it's all essentially a realization of the model of cultural development suggested by the apologists of neo-liberal reform in the early 1990s. In Spain, for example, post-Franco reformers placed their bets on the development of a public infrastructure. In Russia, on the contrary, the focus has always been on dismantling the public sphere: the emergence of a private infrastructure, dominated by the principles of market economy seemed to promise the best perspectives for the future. In the official ideology of those years, the "market" was just as total a category as "power," appearing as a universal solution to all the problems at hand. In fact, most new initiatives today are personal and private. Even those initiatives started up by the state profess the same ideology. This does not create a stationary, transparent infrastructure under community control, but "investment projects," carried out by bureaucrat-businesspeople operating with money from the state budget.

**DR:** This has always seemed like a big paradox to me: the announcement of "exceptional development measures" goes hand in hand with a structure of parallel investment in a diversity of short-termed ventures. Their only common denominator is that they have all been commissioned by different branches of a state capitalist conglomerate whose left hand does not know what the right hand is doing. Then again, one could argue that the history of bureaucracy shows that this "inefficiency" is actually a great mechanism of control: what you get is a non-committal "faceless" body of power, capable of playing out reactions and counter-reactions in order to perpetuate a very peculiar form of unity. This emerged with great clarity at the last Moscow biennial, which looked like a "project-accumulator," a testing ground for new corporate and individual strategies on how to tap into old potentials. Facing staunch resistance, contemporary art has to legitimate itself. But these legitimizations were sketchy, half-hearted, indefinite, temporary, and what's more, they didn't really add up. There was no real subject. The lack of a discursive frame seemed to confirm the biennial's central statement: it is what it is: contemporary art. A process without a subject...enjoy!

**VM:** I think this observation should be enough to keep us from perceiving the cultural industry as a "bad totality." It is enough to uncover the contradictions of the current state of affairs to understand how contradictory this perception is in and of itself.

The source of these contradictions largely lies in the fact that the culture industry is being constructed on consistent anti-intellectualism and the dismantling of the expert community. Following the medialization of politics, contemporary art has consistently placed its hopes in the medialization of the cultural field and the expert community. Note that criticism of art and culture in the mass media is extremely loyal to the current status quo, even though the same mass media host far more fundamental and radical critiques of other social and economic processes. Of course, medialization is an ever-present attribute of any neo-liberal order. Yet in other countries, this tendency never fully replaces other forms of information and cultural significance. As it gains more and more impetus, it encounters increasing opposition. In Russia, however, where the function of the experts has been rendered void, it remains unclear what contemporary art actually is. The history, specificity, parameters, and basic facts of this phenomenon are basically still unknown and have yet to be put forward! The first consequence of contemporary art's anti-intellectual attitude lies in the unstable, ephemeral infrastructure you mention. By failing to connect any principle of value with artistic production, new initiatives – including those run by the state – feel free of any heightened sense of responsibility. This is why so many initiatives come and go, rapidly and radically changing policies and leaders. Their programs are disappointing, combining the rhetoric of their sponsors with the desire of drawing profit from trifles.

**DR:** Then again, everyone in post-Soviet contemporary art complains about the lack of good books, proper educational programs, and frames of reference. But nothing ever changes, because every effort to make a difference is yet another ephemeral project. The excuse for such failures is two-fold: on the one hand, the situation itself is inert but on the other hand, the "ultra-rapid" turnover of the project-economy leaves precious little time for reflection... Expensive new initiatives are started and then abandoned; everything sinks into the oil swamp...

**VM:** It is quite understandable that such lamentations are commonplace. Consistently ignoring the task of intellectual research, the new infrastructure tends to identify value with price, which is why the dialectic between price and value almost never really works the way it would in a full-fledged market. This, in turn, leads to a growing divide between local and international markets. This is something that very few people here realize: for now, they are too excited about Russian contemporary art's participation in international art fairs and the first sales made there...

**DR:** Then again, there has been a superficial improvement over the last years, at least in the number of books printed and exhibitions organized. This reflects the elite's rising demand for new ideologies to justify the international status of its national economy with its contradictory history and its uncertain future.... The confusion of value and price, or use value (art as representative-cognitive technique or practice) with commodity value (art as an expensive fetish), seems characteristic of the nouveau riche. A lot of the "new things" we see look like overpaid bricollage, improvised and then declared legitimate as new mythologies. I find it interesting that many people take this as an occasion to declare the uselessness of criticism as such; since everything has been captured, we might as well let the market do its job, and somehow hope for artistic or political "miracles..." Has this always been the case?



**В.М.:** Исходно либеральные публицисты втолковывали нам, что сначала «надо поставить на ноги рынок», а затем он станет источником становления нон-профитной сферы. Однако полный консенсус в апологии рыночного бытования культуры абсолютно редуцировал вне-рыночное измерение и потребность в нем. Вне-рыночное же бытие может конституироваться только как дистанция и критика рыночных ценностей, следовательно, мы получаем ситуацию, которая строится на консенсусе вокруг отказа от критики. И действительно, господствующее умонастроение исходит из того, что «не надо выносить сор из избы», главное чтобы «система вставала на ноги». Вспомни, как общественности втолковывали – не критикуйте 1-ое биеннале, а то не будет 2-ой, вспомни, какое давление было оказано на тех, кто посмел публично усомниться в порядочности ее организаторов, и вспомни, как это безотказно сработало, как на «воздержании от критики во имя системы» настаивали даже деятели т.н. критической культуры. Очевидно, что подобные взаимоотношения с властью являются по своей природе коррупционными.

**Д.Р.:** В настоящий момент отказ от «критики» сопровождается тем, что Олег Кулик назвал «художественным оптимизмом». В новом утвердительно ключе, «мистерии Москвы» оказываются удобными и прибыльными как декоративные объекты и «мягкие машины», создавая амбициозное временное социальное пристанище для приподнявшейся мелкой буржуазии. Административно-творческая попытка «художественного оптимизма» старается мобилизовать свою целевую аудиторию утвердительным тоном: «ВЕРЮ!». Но во что верит постсоветская приподнявшаяся мелкая буржуазия, состоящая во многом из бывшей интеллигенции? В стародавнюю культуру теософских спекуляций и характерную привязанность к эклектичным идеалам, в кризис идентичности, одобренный латентным национализмом? В современном искусстве эти намеки на неоправославный финиам (стремительно распространяющийся в массовой культуре) забываются более древним запахом. В поиске новых «позитивных» ценностей «художественный оптимизм» открывает дверь псевдо-критическому “всеобщему интеллекту” бывшей интеллигенции с ее неодолимым пристрастием к метафизическим спекуляциям за кухонным столом. Ее разговоры о «боге и мире» всегда были неубедительны; а теперь, выходит, их мобилизуют, чтобы выразить восторг по поводу корпоративного духа...

**В.М.:** В одном и недавних текстов я высказал соображение, что современная Россия стратегически нацелена на инвестиции в энергетическую отрасль и в массовую культуру, т.е. она зажата между культом недр, земли, почвы и «всеобщим интеллектом» (используем здесь термин Паоло Вирно). Характерно, что

если в художественной сфере подобный тип развития не вызывает беспокойства, то в других областях подобая модель развития обсуждается бурно и в критическом ключе. Видимо, даже внутри правящего класса существуют круги, понимающие, насколько фальшивым является официальный общественный оптимизм. Риторика «Россия великая энергетическая держава» – это, в сущности, более корректное определение статуса «большого энергетического придатка». Отсюда и разговоры в близкой к власти прессе о необходимости развития индустрии знания, о реформе образования, об инвестициях в интеллектуально емкие отрасли и т.п. И хотя это не находит своего практического разрешения, но это свидетельствует – власть, или некоторые наиболее ее амбициозные кланы, не воспринимает прядок вещей как «тотальность», она видит в нем противоречия. Так культурное сообщество, включая культур-чиновничество, является носителем наиболее ретроградных установок, провозглашенных еще в начале 90-х и уже тогда бывших более чем сомнительными. Похоже, что государство у нас по-прежнему остается «главным европейцем».

**Д.Р.:** Недавний ход событий показывает, как чиновники от культуры апроприируют и курс на «индустрию знания», подкрашивая его социал-демократической риторикой, которая обеспечивает «надлежащее» место имманентной критике в подвергшейся «перезагрузке критической культуре». Здесь налицо явное внутреннее противоречие. Опять-таки, взять, к примеру, нынешнюю Московскую биеннале. Она не только привлекает «художественный оптимизм», но уже успела организовать конференцию с ведущими европейскими интеллектуалами. Большинство из них, если не все, более или менее критичны, а сверх того еще и критичны в отношении консенсуальной роли критической культуры, ее самонейтрализации, статусу выпускающего пар клапана. Поразительно, насколько тупо и произвольно этот самокритичный дискурс подается в качестве *интеллектуальной легитимации современного искусства*, вероятно в ответ на вытесненную критику анти-интеллектуализма этого самого искусства. Интеллектуальная, критическая культура? Вы этого хотите? Отлично, мы привезем вам Агамбена. Вообще-то это указывает в направлении, весьма сходном с «художественным оптимизмом», хотя конференция мобилизует мировой всеобщий интеллект того, что слывет критической теорией, а не местный ресурс кухонно-застольной метафизики, перенесенной в гламурный парк развлечений. И снова управленец побеждает, утверждая реальность. И снова наши «критичные» интеллектуалы пожимают плечами, говоря, что мы живем в реакционные времена...

**В.М.:** Россия знала разные типы реакции – от Николая I до

Брежнева. Каждый раз она призывалась к жизни своими причинами и имела свои особенности. Мне кажется, что главная особенность нынешней в том, что она сопровождается невиданной по размаху коррупцией и, в сущности, является формой ее консолидации.

В этом контексте, главная слабостью творческой среды – той, которая претендует на то, чтобы быть носителем критического сознания, является то, что у нее нет иной, альтернативной существующей, модели культуры. Неправедность существующего статус-кво является для нее неким *a priori*, но другого реального проекта организации культурного производства в обществе, предполагающего иной тип взаимоотношений с властью и иного адресата – такого проекта у нее нет. В Москве спорят об автономии искусства, изучают марксизм 30-х годов, но уходят от обсуждения конкретной позитивной перспективы. А только такая программа, воплощенная в системе очень конкретных требований и установок, социальных программ и творческих усилий, будучи предъявленной художественной и общественной жизни, может быть эффективной альтернативой тотальным претензиям культурной индустрии. Пока этого нет, критическое умонастроение будет носить лишь академический статус или статус персонального или группового чудачества, простительного артистическим особам.

Проблема именно в этом, а не в факте того, что критические художники и интеллектуалы принимают участие в анти-интеллектуальных проектах. Существует масса стратегических и тактических обоснований, почему критики вступает на территорию объекта критики. Проблемой же это становится тогда, когда за ними не стоит оформленной альтернативы, которая объективно или субъективно делегирует его на этот шаг. В этом случае это есть ничто иное, как осознанная или бездумная коррупция.

Отсюда же нелепость слоняющегося по Москве Агамбена и других его коллег, выписанных бессистемно и случайно, наподобие того, как новые русские выписывают итальянскую мебель, тыкая пальцем в дизайнерский каталог. Пока не идет работы по ответственному альтернативному проекту, их речи лишены контекста. На них ходят смотреть как на гламурный зверинец, в появлении их в Москве нет никакого риска, как и в появлении Бен Ладена в поселении сектантов, где ничего не слышали об исламе...

перевод Александр Скидан

**Виктор Мизиано**, род. 1957 г. художественный критик и куратор, редактор с 1993 года Московского Художественного Журнала

**Давид Рифф**, род. 1975 г. художественный критик, писатель, член рабочей группы «Что делать?». Живет в Москве и Берлине



**VM:** From the very beginning, liberal publicists have been telling us that it was “first necessary to put the market on its feet” and that this would then lead to the emergence of a new non-profit sphere. However, a complete consensus in the apology of the market’s prevalence over culture led to an absolute reduction of the extra-market dimension, to the point of eliminating the very need for it. Existence beyond the market can only constitute itself as distance, as a criticism of the market’s values. But what we get is a situation that rests upon a consensus on the renunciation of criticism. Indeed, the dominant attitude assumes that it is better not to “wash dirty linen in public;” the main thing is “to establish the system.” Remember how they hammered it into the art community: don’t criticize the first biennial because there won’t be a second one. Remember how much pressure was applied to those who dared to doubt the integrity of its organizers in public. And also think of how the producers of so-called “critical culture” insisted on “holding back criticisms to keep the system intact.” Obviously, this kind of relationship to power is corrupt by its very nature.

**DR:** At present, this renunciation of “criticism” has accompanied what Oleg Kulik has been calling “artistic optimism.” In a new affirmative key, the “mysteries of Moscow” are rendered comfortable and profitable as decoration-objects and soft machines, creating an ambitious temporary social site for the upscale petit bourgeoisie. The creative managerial effort of “artistic optimism” tries to mobilize its target group by sounding affirmative: “I BELIEVE!” But what is belief for the post-Soviet upscale petit bourgeoisie, which is largely from the ex-intelligentsia? An older culture of theosophical speculation and idiosyncratic devotion to eclectic ideals, an identity crisis with plenty of latent nationalism. In contemporary art, this dispels any hint of neo-orthodox incense (spreading so rapidly in mass culture) with an older smell. In search of new “positive” values, “artistic optimism” opens the door for the ex-intelligentsia’s pseudo-critical general intellect and its overwhelming propensity for metaphysical speculation at the kitchen table. Its discussions about “god and the world” were always inconclusive; now, it turns out that they are being mobilized to express enthusiasm in a corporate spirit...

**VM:** In a recent text, I suggested that it makes strategic sense for Russia to invest into two areas, the energy sector and mass culture; in other words, it is lodged between a cult of fossil fuels, earth, and soil and “general intellect” (to continue using this term). It is typical for the contemporary art world that this ongoing development does not bother anyone very much. But in other fields, this developmental model has provoked stormy critical debate. It seems that there are circles within the ruling class that understand just how fake the official optimism sounds. It would essentially be more correct to define the rhetorical role of “Russia as an energy world power” as capitulation to being a “big energy appendage.” This is why the state-controlled press is full of talk about the need for developing the knowledge industry, of introducing educational reforms, of investing in intellect-intensive sectors of the economy, and so on. And even if this contradiction has yet to find its practical resolution, it shows that power (or some of its more ambitious clans) do not see the current situation as a “bad totality,” but as something fraught with contradiction. In this sense, the cultural community and its cultural bureaucrats take on the most retrograde attitudes possible, continuing to profess ideas that already seemed rather doubtful in the early 1990s. It looks like the state is still Russia’s “main European.”

**DR:** Recent developments show how cultural bureaucrats appropriate the “knowledge industry” tack as well, reworking it with a social democrat rhetoric that provides a “proper” place for immanent criticism in “critical culture reloaded.” Here, it lapses into open self-contradiction.

Again, take for example, the current Moscow biennial. It is not only hosting “artistic optimism,” but also has already organized a conference with leading intellectuals. Most, if not all of these people are more or less critical, and moreover, critical of critical culture’s consensual role, its self-neutralization, its status as a pressure valve. What is so strange here is how bluntly and arbitrarily this rather self-critical discourse is presented as the intellectual legitimization for contemporary art, perhaps in response to the repressed criticism of its anti-intellectual quality. Intellectual, critical culture? Is that what you want? We’ll bring Agamben to town. This seems to point in a very similar direction as our “artistic optimism,” actually, though it mobilizes a global general intellect of what passes for critical theory, rather than the local resource of kitchen-table metaphysics, exported in the glamorous theme park. Again, the manager wins and declares reality. And again, our “critical” intellectuals shrug their shoulders, saying that we are living in reactionary times...

**VM:** Russia has seen many different types of reaction, from Nikolai I to Brezhnev. Each reactionary period had its reasons and special features. The main specificity of the present situation is that its consolidating factor is a corruption of proportions hitherto unknown. In this context, the creative milieu’s main weakness – despite its ambitions of propagating critical consciousness – is that there is no alternative model of culture. The wrongness of the present status quo is generally recognized as an a priori of sorts, but it offers no realistic project for how to reorganize cultural production. It does not suggest any different relationship to power, nor has it found any alternate addressee. People in Moscow argue about autonomy or study 1930s Marxism, but they avoid any concrete discussion of positive perspectives for the future. But this kind of program, articulating itself in art and social life as set of very concrete demands and policies, social programs, and creative efforts, is the only effective alternative to the culture industry’s pretense toward totality. Without such a program, critical attitudes will have an academic status or the status of a personal or collective extravagance, to be humored as artistic idiosyncrasy. This is the problem, and not the fact that critical artists and intellectuals participate in anti-intellectual projects. There are a host of strategic and tactical reasons for criticism to take place on the territory of its object. This only really becomes a problem when criticism offers no clear alternative that objectively or subjectively delegates it to take this step. Lacking such a project, it becomes nothing more than conscious or unconscious corruption. This is what makes it so incongruous when Agamben and his colleagues hang out in Moscow after being booked at random, lacking any larger system. It seems a little like the Russian nouveau riche ordering Italian furniture by pointing their fingers at a designer’s catalogue. As long as work on a responsible alternative project is forestalled, the utterances of invited philosophers are robbed of their context. People will go to look at them like a glamorous menagerie. There is no risk associated with bringing them to Moscow, just like the appearance of Osama Bin Laden would be harmless among in a settlement of religious sectarians who have never heard of Islam...

translated by David Riff

**David Riff**, born 1975 in London, art critic, translator, writer, member of the workgroup “Chto Delat?“. Lives in Moscow and Berlin.

**Victor Misiano**, born 1957, art critic and curator, since 1993 editor of the Moscow Art magazine, lives in Moscow



## Игорь Чубаров | Заметки о вере, или в джакузи с Олегом Куликом

*«Недостает нам (ведь нам кое-чего недостает, нам недостает политики, чего тут скрывать), стало быть, вовсе не материи и не форм, из которых можно было бы сфабриковать миф. Для этого всегда достаточно всякого хлама, идеологического китча, сколь убогого, столь и опасного. Но нам недостает пронципальности, чтобы различить событие — события, в которых поистине берет начало наше грядущее. Конечно же, они не производятся в возврате мифов. Мы больше не живем ни в измерении, ни в логике истока. Мы существуем, запаздывая, исторически задним числом. Что не исключает того, что предел запаздывания может обернуться отправной точкой какой-то новизны. Более того именно это и требуется от нас помыслить».*

*Ф. Лаку-Лабарт, Ж.-Л. Нанси. Нацистский миф.*

—

Многие посетители выставки под претенциозным названием «Верю!», открывшаяся в преддверие и в рамках второго московского биеннале, разделяют мнение, что она ничем особенно не отличается от любой другой подобной сборной выставки современного российского искусства. С мнением этим согласны и ее прежде непримиримые критики и некоторые участники. Разве что акценты ставятся разные.

На идеологическом акценте настаивают многие художники и кураторская группа. Речь якобы идет о поисках «позитива», легитимации «веры» в интеллигентском сознании, но без узко конфессионального (а то и вообще, религиозного) вероисповедания. Т.е. о восстановлении доверия к современному искусству, а через него и доверия между людьми. Темы эти сто раз проговорены, а соответствующие пути затоптаны табунами богоскателей и богоборцев из тех же русских интеллигентов начала прошлого века. Что ж «трагедия русской интеллигенции» повторяется в виде фарса, но замечено и нечто новое.

Ибо заявленная тема – не только аксессуар нового бородатого имиджа Олега Кулика и компании, которым хотелось бы в ее ослепительных лучах выйти из сумрака 90-х и начать наконец легально продаваться на худо-бедно складывающемся российском арт-рынке. Здесь художников можно понять и сравнить с пресловутыми российскими олигархами, которые не платили лет десять налогов, и даже поговаривали об альтернативных экономиках и способах производства, но после истории с Юкос, сразу как-то сникли и начали покорно «служить отечеству». Т.е. отказались от и так непосильных для бывших фарцовщиков социально-политических проектов, и ограничились проектами индивидуальными - постройками яхт и отдыхом на элитных курортах с гаремами из малолетних фотомоделей. А для удовлетворения метафизических чувств, покупая на Sotheby’s «черные квадраты» и жертвуя долю малую гос. чиновникам и церкви во искупление вышеупомянутых «грехов».

У наших художников тоже был свой Юкос – разгромленная православными боевиками, а затем еще и официально осужденная властями выставка «Осторожно религия» в Сахаровском центре. Несмотря на концептуальную беспомощность самого этого проекта, целиком оставшегося в либеральной иллюзии 90-х, участники той выставки, по крайней мере, не лизали так откровенно власти, т.е. не миметировали ее актуальных идеологических амбиций. Это была попытка сделать вид, что мы все еще живем в условиях светского социального государства, хотя всем было уже ясно, что это не так.

Устроители «Верю» извлекли из всей этой гнусной истории необходимые уроки, использовав инерцию нездорового интереса к околоцерковной проблематике в обществе, но купировав те ее элементы, которые могли бы быть истолкованы представителями «православного акционизма» и судейских в духе христиано-русо-фобии и «разжигания межконфессиональной розни». С этой целью, под предлогом борьбы с «либеральным постмодернизмом», они отказались даже от минимальной критической дистанции к будирующим постсоветское общественное сознание реакционным концептам вроде «веры», «мифа», «национального искусства», от какой-либо амбивалентности или субверсивности в представлении соответствующих тем.

Если и можно говорить о какой-то ироничности ряда выставленных работ, то это тип индивидуалистической иронии, каких-то безопасных персональных мифов, уже отживших свой исторический век, и сразу по изготовлению заносящихся в новенькие католожные карточки концептуалистского архива. Именно так выглядят сами по себе (вне веровательных коннотаций) интересные работы Монастырского, Пригова и Захарова.

Но они, как и новые «шедевры» наших левых товарищей (Осмоловского и Гутова) и замечательных видеоартистов (Чернышевой и Алимпиева), не смогли, как мы и предполагали, декодировать «социальный заказ», задаваемый куратором.

Как-то несколько лет назад Олег Кулик предложил участникам нашего семинара о современной философии в ИФРАН (в который входили и Гутов, и Осмоловский), провести его в... джакузи, вместе с исследуемыми им в то время проститутками. Предполагалось, что независимо от содержания нашей беседы, Кулик сможет представить наш семинар как часть своего более значительного перформанса, но заодно и мы получим не снившийся доньяне интеллектуалам общественный резонанс. Разумеется, мы отказались. Но прошло время и некоторые наши товарищи залезли в ту же крестильную купель с надеждой перекричать шумные барахтанья «Синих носов» и АЕС. Напрасные надежды.

Хотя мы и понимаем, что для более 50-ти (очень по-своему разных) участников проекта, тема «веры» предстает чем-то вроде очередного и не столь уж значимого повода показать свои новые работы. Предполагается, что размещенные в общем пространстве бывшего винзавода, они могли бы быть выставлены где угодно и под какой угодно шапкой. Даже под титулом «Не верю». Так подумали после посещения выставки и некоторые изначально критически настроенные к ней товарищи. А проводимые Куликом в течение года и опубликованные в каталоге под названием «Хenia» религиозно-культурологические беседы, предстали всего лишь успешным превентивным PR-ходом, на который многие и купились.

Но тема веры не является чем-то невинным и безразличным к устроенному Куликом празднику изящных искусств. В данном случае она и стала той самой общей ванной для художников, где вместо путан засели попы и политтехнологи президентской администрации. И хотя в представленных на «Верю» работах почти нет прямой эстетизации активно представленных в современном российском медиапространстве религиозных символов и ценностей, политический смысл проекта откровенно конформен и реакционен - речь идет о готовности художников выполнять противные природе современного искусства функции – не протестные, критические, или революционные, а идеологические - мифотворческие. Художники не желают больше находиться в критической резервации 90-х, выполняя диагностическую работу социальных клиницистов. Они хотят инфицировать. Мифостроительным пафосом пронизаны все упомянутые «сборы» и интервью с художниками, даже если они аттестуют себя там анархистами, левыми, или атеистами. Т.е. проблема состоит не в том, что художники в одночасье стали (если не всегда были) «верующими», а что они пытаются рассматривать искусство исключительно в веровательно-мифологическом измерении, говорят о создании «новой идеологии» и т.п.

В концепте «веры» они пытаются нащупать новый язык для коммуникации с обществом. И это оказался язык власти, потому что художники сами хотят теперь управлять идеологическими процессами, а искусство попытаться в инструмент такого управления. Речь идет таким образом о мимесисе власти, к которому начиная еще с Платона, подталкивала искусство консервативная мысль.

Но я бы поостерегся называть эту ситуацию «фашисткой». Ведь реакционный по сути концепт веры накладывается сегодня не на революционную эмоцию каких-то молодых разрушителей-антисистемников, гопников или скинов, а на разочарованных в своей поколенческой революции (пришедшейся на 80- и 90-е гг.) и моделях коллективности художников-метеоритов, по большей части живущих заграницей. Т.е. на столь же реакционную (или инерционную) эмоцию постсоветского буржуазного индивидуализма, который Кулик безуспешно попытался замкнуть псевдомобилизующим призывом - «верю». В этом смысле идеология проекта Олега Кулика представляет собой банальный пример современной цинической позиции, которой в частности не устает удивляться Славой Жижек.

## Igor Chubarov | Notes on Faith, or, Oleg Kulik’s Jacuzzi

*Therefore, what we are lacking (for we do lack something in particular—there is no point in hiding that it is politics we lack) is not at all the matter and the forms from which myth might be fabricated. For that there is always sufficient rubbish, ideological kitsch that is as banal as it dangerous. What we lack, however, is the insight necessary to discern the events in which our future truly has its origins. They are not, of course, produced in the return of myths. We longer dwell in that dimension, in the logic of the source. We exist belatedly, in a historical future perfect. Which does not rule out the fact that the limit of belatedness might prove to be the starting point of some innovation. Moreover, it is precisely this that demands our thought.*

—

*Philippe Lacoue-Labarthe and Jean-Luc Nancy, Le mythe nazi*

—

Many visitors to the pretentiously titled I Believe! (which opened on the eve of the Second Moscow Biennale) share the opinion that the show is no different from any other group exhibition of contemporary Russian art. Even critics previously hostile to the show and several participants agree with this assessment. They differ, perhaps, only in what they choose to emphasize.

—

The curatorial team and a number of the participating artists insist on emphasizing the show's ideological aspect. The exhibition thus addresses, as it were, the search for “positivity,” the legitimation of “faith” in the minds of the intelligentsia. (However, faith here isn’t understood narrowly; there is no necessary reference to a particular confession, or, even, religion in general.) The project, then, aims to restore faith in contemporary art and, thus, between people. These themes have been discussed to death, and the roads taken trampled into deep ruts by the herds of god-seekers and theomachists who arose within our very same Russian intelligentsia at the turn of the nineteenth century. And so the “tragedy of the Russian intelligentsia” repeats itself as farce. Something new catches the eye in this latest production, however.

—

For the stated theme isn’t meant simply to accessorize the new, bearded image of Oleg Kulik and Co. Swaddling themselves in faith’s blinding rays, they would love to exit from the twilight of the nineties in order finally to go legal on the more-or-less emergent Russian art market. In this sense, we might compare the artists to the notorious Russian oligarchs: they didn’t pay taxes for ten years and even paid lip service to alternative economies and means of production. After the Yukos affair, though, their chutzpah immediately flagged and they began humbly serving the Fatherland. That is, they rejected the social-political projects that were in any case a heavy load for these ex-black marketeers and limited themselves to individual projects: building yachts and vacationing at upscale resorts with harems of underage supermodels. They satisfy their metaphysical yearnings by buying “black squares” at Sotheby’s. They atone for the above-mentioned sins by paying tithes to bureaucrats and the church.

—

Our artists also had their own Yukos affair—the Caution: Religion! show at the Sakharov Center, which was vandalized by Orthodox thugs and then officially condemned by the authorities. Despite the conceptual feebleness of the project itself (wholly trapped in the liberal illusions of the nineties), at least the show’s participants didn’t suck up to the powers-that-be by so flagrantly imitating their current ideological ambitions. Caution: Religion! pretended that we still live in a secular social democracy, although it was already clear to everyone that this wasn’t the case.

—

The organizers of I Believe! learned the necessary lessons from this disgusting story. They’ve harnessed the inertia of society’s unhealthy interest in the para-ecclesiastical problematic while deleting all those of its elements that Orthodox actionists and the courts might interpret as instances of Christiano-Russophobia and “incitement of interconfessional conflict.” To this end, under the pretense of combating “liberal postmodernism,” they’ve even rejected a minimal critical distance from the reactionary concepts—“faith,” “myth,” “national art”—that have inflamed post-Soviet social consciousness. They’ve eschewed the slightest hint of ambivalence or subversion in their presentation of these themes.

—

—

—

С ним нельзя не согласиться, что проблема цинизма состоит в нецеломудренности, непервородности подобных «вере» симптоматичных концептов. Они выступают здесь как уже проинтерпретированные привлекаемыми их авторами. Поэтому наши коллеги не называют себя ни «националистами», ни «фундаменталистами», ни «фашистами». Но действуют так, как будто это не важно. Т.е. они сознают, что вся эта тема дурно пахнет, но действуют в том же духе (логика «клин клином вышибает»).

Поэтому и нельзя переоценивать и демонизировать эти вероискания и вероиспускания (упрекая их в ненаучности и иррационализме), а тем более принимать их за чистую монету (подобно неведомо откуда налетевшим на этот «мед» псой-литературоведам, не смешным аналитикам смеха и физикам-исихастам). Почитайте беседу Кулика с Ануфриевым: вера - знание, знание – вера, а все равно все кончается травой, грибами и тем же джакузи.

Между тем в проблематике веры действительно есть важный этический смысл, который устроители и участники выставки обошли молчанием.

Единственно доступный человеку опыт веры не носит характера присваиваемого чувства или какого-то индивидуального переживания. Он в полной мере принадлежит Другому, его свободной воле. Другой человек является здесь не предметом или объектом веры, а ее единственным «субъектом». Не в том смысле, что верит всегда только кто-то другой, а в том, что называемое верой не подвластно воле субъекта-Я. Другими словами я не могу одним своим желанием заставить Другого отвечать на запрос моей веры. Вера в этом смысле построена на абсолютном разрыве, на различии, которое никогда не переходит в тождество. Она лишь открытая потенциальность Другого, как возможность оправдания моего к нему доверия. Не более того, но и не менее. Таким образом, вера доступна нам только в модусе доверия, некоей собственной потенции, как реальной возможности любви к Другому, а не у-веренной манипуляции его чувствами, которое больше интересует Кулика и Ко – изобретателей новой мастурбаторной идеологической машины (Другой как мастурбаторный фантазм божественной субъективности Олега, следующего здесь за Альфредом Розенбергом, также усмотревшем когда-то «всемогущество всевышнего в собственной душе»).

В этой идеологической плоскости вера не есть нечто невинное. Это запись насилия и человеческого несчастья на теле общества, религиозная аскеза как добровольный ад и надежда на воздание за земные мучения, рабский договор о допустимом уровне нищеты и боли, который к тому же постоянно нарушается со стороны господина. Поэтому вера в этом «внутриполитическом» смысле, то и дело обращается в веру как орудие политики внешней – инструмент религиозной и национальной войны, служа ключевым средством идентификации субъекта насилия (Ж.-Л. Нанси, Ф. Лаку-Лабарт, Нацистский миф). Вера в «истинного бога», «расу», «нацию» становится здесь лживым общегражданским мифом, оправдывающим уничтожение Другого и других рабов не обладающих этой «истинной верой» (первыми рабами были плененные воины). Поэтому реакционность этого концепта в политическом плане сомнений не вызывает.

Наивно было бы полагать, что позиции цинической веры и мифа «для других» способно уберечь современное российское общество от разложения и краха. Ибо цинизм плох не сам по себе, а бессилием перед лицом наступающей политической реакции, молчаливым, а иногда и откровенным принятием реакционных идеологов власти, которым выставка «Верю» вторит миметическим контрапунктом.

—

*Игорь Чубаров (1965) философ, антрополог, глава издательства Logosaltera и редактор целой серии книг интеллектуальной литературы и публицистики, живет в Москве*



Even if it's possible to speak of irony in a number of the works exhibited, this irony is individualistic. Such works revolve around harmless personal myths that, having outlived their historical moment, are immediately filed in the brand-new card catalogs of the conceptualist archive. Such is the impression made by the contributions of Andrei Monastyrsky, Dmitry Prigov, and Vadim Zakharov, which are interesting apart from their faithological connotations.

As we assumed would be the case, however, neither these works nor the new masterpieces of our leftist comrades (Anatoly Osmolovsky and Dmitry Gutov) and our outstanding video artists (Olga Chernysheva and Viktor Alimpiev) has proved capable of decoding the “social commission” issued by the curator.

Several years ago, Oleg Kulik invited the members of our contemporary philosophy seminar (based at the Philosophy Institute of the Russian Academy of Sciences, it included both Gutov and Osmolovsky) to accompany him to the jacuzzi along with the prostitutes he was researching at the time. Kulik assumed that, whatever the content of the ensuing discussion, he would be able to present our seminar as part of a more-significant performance—and that to boot we'd benefit from PR-buzz that most intellectuals could only dream of. We turned him down, of course. But time has passed and several of our comrades have slipped into this very same baptismal font in hopes of drowning out the noisy flounderings of the Blue Noses Group and AES+F. They hoped in vain.

We do understand that for the fifty-some participating artists (all very different in their own ways) the topic of faith is just the latest and not terribly significant occasion to show new works. Housed in the common space of a former distillery, the works might just as well have been exhibited anywhere else and under any banner whatsoever—even I Don't Believe! That was the impression garnered by several initially critically minded art-scenesters when they visited the show. The colloquia on religion and culture that Kulik conducted over the course of the past year and published in the show's catalog, entitled Xenia, were likewise viewed merely as successful preventive PR-strikes that sold the project to many people.

But the topic of faith isn't an innocent incidental detail in Kulik's feast of the fine arts. In the given instance, faith is the big bathtub where the artists splish-and-splash with priests and Kremlin spinmeisters instead of whores. Although none of the works in I Believe! directly engages in aestheticizing the religious symbols and values that are actively represented in the contemporary Russian mediasphere, the project's political meaning is flagrantly conformist and reactionary. We see represented the willingness of artists to fulfill functions contrary to the nature of contemporary art—to further the cause of ideology and myth-construction, rather than protest, criticism, and revolution. Artists have grown weary of dwelling in the critical reservation of the nineties, where they carried out the diagnostic work of social clinicians. They want to infect society. This mythopoetic sentiment permeates all the “gatherings” transcribed in the catalog as well as the interviews with participating artists, even when they identify themselves as anarchists, leftists or atheists. The problem, then, is not that the artists have suddenly become “believers” (if they weren't ones already), but that they try to view art exclusively in its faithological-mythological dimension, that they speak of creating a “new ideology,” and so forth.

Via the concept of faith they attempt to feel their way towards a new language for communicating with society. This language turns out to be the language of power: the artists want to guide ideological processes themselves and turn art into an instrument of this control. Thus, we are dealing here with the mimesis of political power that conservative thought has urged on art since Plato onwards.

I would caution, however, against calling this situation fascistic. For the essentially reactionary concept of faith is superimposed not on the revolutionary emotion of youthful antisystemic wreckers (yobs or skinheads), but rather on artists (most of whom live outside Russia) whose careers blazed like meteorites in the eighties and nineties. Nowadays, they are disenchanted with the revolution their generation made during that period and its models of collectivity. Thus, the reactionary concept of faith gets mixed up with the equally reactionary (or inert) emotion of post-Soviet bourgeois individualism, which Kulik has unsuccessfully attempted to foreclose with the pseudo-mobilizing appeal I Believe!

In this sense, the ideology behind Kulik's project represents a trite illustration of the contemporary cynical stance that never ceases to amaze, most conspicuously, Slavoj Žižek. One cannot help but agree with him that the problem of cynicism lies in the lack of chasteness and unoriginality on display in symptomatic concepts like faith. Here they appear pre-interpreted by the artists who appeal to them for support. That is why our colleagues don't call themselves nationalists, fundamentalists or fascists. They act, however, as if this weren't important. They recognize, that is, that the entire topic stinks, but they act in the exact same spirit (thus obeying the logic that like cures like).

Thus it would be wrong to overestimate and demonize these virtual pilgrimages and acts of faith by accusing them of irrationalism and a lack of scientific rigor. It would be even more wrong to take them at face value, like the Psoi Korolenko-type literature scholars, unfunny analysts of laughter, and hesychast physicists who've come swooping down on this veritable honey pot from out of nowhere. Read the transcript of the conversation between Kulik and Sergei Anufriev: faith is knowledge, knowledge is faith—but it all still ends up in weed, shrooms, and that same-old jacuzzi.

The problematic of faith contains, nevertheless, an important ethical meaning that the exhibition's curators and artists have passed over in silence.

The only kind of faith accessible to the individual isn't a sentiment that can be acquired or an individual experience. This faith belongs wholly to the Other, to his free will. The Other isn't here an object of faith, but rather its only subject. Not in the sense that it is always someone else who believes, but in the sense that what faith names isn't dependent on the ego-subject's will. In other words, my desire alone isn't enough to force the Other to respond to the solicitation of my faith. Faith is founded on an absolute break, on difference that never passes into identity. It is merely the Other's open-ended potentiality, the possibility that my trust in him will prove justified. It is no more than this, but also no less. Thus, we have access to faith only in the mode of trust (in Russian, *doverie*: literally, “pre-faith,” as opposed to *vera*, “faith”), only as a certain personal potential, as the real possibility of love for the Other—not as the confident (*uverennoi*) manipulation of his feelings. This manipulation, though, is what most interests Kulik and Co., the inventors of a newfangled ideological masturbatory machine. For Kulik, the Other is the masturbatory phantasm of his own divine subjectivity. In this he follows Alfred Rosenberg, who also once detected the “strong one from above” in his own soul.

Faith isn't something innocent on this particular ideological plane. It is the inscription of violence and human misery on society's body. It is a voluntary hell that masks itself as religious asceticism and the hope of heavenly reward for one's earthly torments. It is a slave's compact with his master about an acceptable measure of poverty and pain—a compact that the master constantly breaks in any case. Faith as a matter of “domestic policy” thus time and again is transformed into faith as a weapon of foreign policy, as an instrument of religious and ethnic warfare, as the principal key to the subject of violence's identity (as Lacoue-Labarthe and Nancy argue in *Le mythe nazi*). Belief in the “true God,” in “race” and “nation,” is here transformed into a mendacious public myth that justifies the destruction of the Other, and of other slaves who aren't in possession of the “true faith.” (The first slaves were prisoners of war.) There thus can be no doubt about the reactionary nature of this concept in the political realm.

It would be naive to assume that the practice of a cynical faith and the construction of myths “for others” are capable of saving contemporary Russian society from decay and collapse. For cynicism is a bad thing not in itself. It is bad because it is a form of powerlessness in the face of advancing political reaction. It is bad because it is the silent (and, sometimes, frank) acceptance of power's reactionary ideologemes, which I Believe! amplifies with its mimetic counterpoint.

*Igor Chubarov (born 1965). Philosopher, anthropologist, head of the Logosaltera publishing house, and editor of a series of books on intellectual concerns and current affairs. Lives in Moscow.*

translated by Thomas Campbell



МОНИКА МАРКЛИНГЕР | MONIKA MARKLINGER /// РЕВОЛЮЦИЯ ЭТО ПРОСТО ОБРАЗ - МЕТАФОРА, 2007



# Дмитрий Виленский | Капитализация веры

*”В “силе негативности” Гегель усматривал жизненную стихию духа и, следовательно, разума. В конечном счете, эта сила была силою пости-гать и изменять данные факты в соответствии с развитием потенциальных возможностей и путем отрицания “позитивного” как только оно становилось преградой на пути свободного развития. В самой своей сущности разум есть противоречие, противостояние, отрицание до тех пор, пока свобода не будет реализована. Если противоречивая, противоборствующая, отрица-тельная сила разума терпит поражение, реаль-ность совершает свое движение, повинуюсь собственному позитивному закону, и, не встречая противодействия со стороны духа, раскрывает свою репрессивную силу”.*

Герберт Маркузе из “Разума и Революции”

*“Я не цензуру осуществляю, а фейс-контроль. Надо понимать, в какое время мы живем”.*

Олег Кулик, о своей роли куратора на проекте “Верю!”

## 01. Россия, начало 2007 года

В последнее время нарастает волна пропаганды, которая стремится внушить, что жизнь становить-ся все лучше, что все беды переходного периода уже позади. Наступает время стабильности, нормализации, растет уровень благосостояния, страной правят мудрые правители, которых народ не просто выбрал, – он им доверяет, что они ведут страну единственно верным путем, которому не может быть никакой альтернативы. Любой, выражающий в этом сомнение, по недавно принятому закону легко может быть объявлен экстремистом, внутренним врагом – пособником откуда-то стремительно множащихся врагов России. Эфир и медиа начали заполняться штампа-ми, удивительно напоминающими фразеологию эпохи брежневского застоя, и не случайно, что 100летний юбилей со дня рождения Брежнева в декабре 2006 года был вдруг отмечен с огромным воодушевлением. Власть, лихорадочно выискивая в прошлом исторические эпохи для своей легити-мации, выбирает те моменты истории, за которыми в последствии устойчиво закрепились опреде-ления реакции и застоя, упорно вытесняя из коллективной памяти, чем они всегда кончались.

## 02. О вере к власти

Сегодня власть в России начала осознавать, что уже недостаточно контролировать экономику и манипулировать политической жизнью. Жесткого контроля публичной сферы, криминализации институтов гражданского общества и трудовых отношений уже недостаточно. Идея “суверенной демократии” на самом деле утверждает только то, что элиты российского общества уже достигли высочайшей степени суверенности по отношению ко всему остальному населению и эта суверен-ность должна быть выведена из-под любых форм критики. Единый суверен государства-корпорации требует своего утверждения в новом символическом порядке, который основан на множествен-ности репрезентации своего признания. Требуется ре-конструирование публичной сферы как единого аффирмативного целого и отказа от любых идей трансформации, вне проектов власти. Задейство-вание механизмов веры, как главного средства “обмана масс”, необходимо для утверждения сакральности власти и скрывтия механизмов ее работы. Для решения этих задач силы капитала и бюрократии уже явно недостаточны и вот тут, конечно же, необходима поддержка работников культуры.

## 03. Автономия. Перезагрузка по-русски.

Как российская элита стремиться к своей суверен-ности, так и большинство современных россий-ских деятелей культуры востребует идеи автоно-мии культуры. При этом идеи автономии оказыва-ются наполненными весьма подозрительным смыслом, и воспринимаются, как независимость от любых задач социальной ангажированности и критики. Подобным, более чем вольным, интер-претациям соответствует традиционная ориен-тация российских деятелей культуры на дистанци-рование от политики, уход в мистические, сакральные практики, отказ от негации в пользу позитивного утверждения. Со времен знаменитого письма Пушкина к Чаадаеву 1836 года, где он пишет о ситуации в России своего времени: «Это отсутствие общественного мнения, это безразли-чие по отношению к тому, что является долгом, справедливостью и истиной, это циничное презрение к мысли и достоинству человека приводят в отчаяние» - мало что изменилось. Смирно решив, что в мире никакие изменения невозможны и конец истории воплотился в бесконечных воплощениях суверенности гаранта Конституции, искусство обращается к сугубо индивидуальным позитивным ценностям. В этих

процессах культура консолидируется с властными элитами, отказываясь от проблематизации условий своего существования и воспроизводства в публичной сфере. “Сегодня нужны позитивные ценности!” заявляет Олег Кулик и ведущие и рядовые деятели культуры готовы выразить с ним полную солидарность. Но за этими супер-позити-вными утверждениями можно увидеть серьезный экономический расчет на то, что культура обретает свою надежную вписанность в институции власти и капитала. Манифестации позитивности, через возгласы “Верю!” (не столь принципиально во что) щедро оплачиваются полноценным российским рублем – подтверждение тому рекордный бюджет выставки с одноименным названием. И серия проектов, носящих сходные названия, не заставила себя ждать - пример тому – недавнее учреждение премии Академии Художеств “Вера”.

## 04. Проект(ы) художественного оптимизма

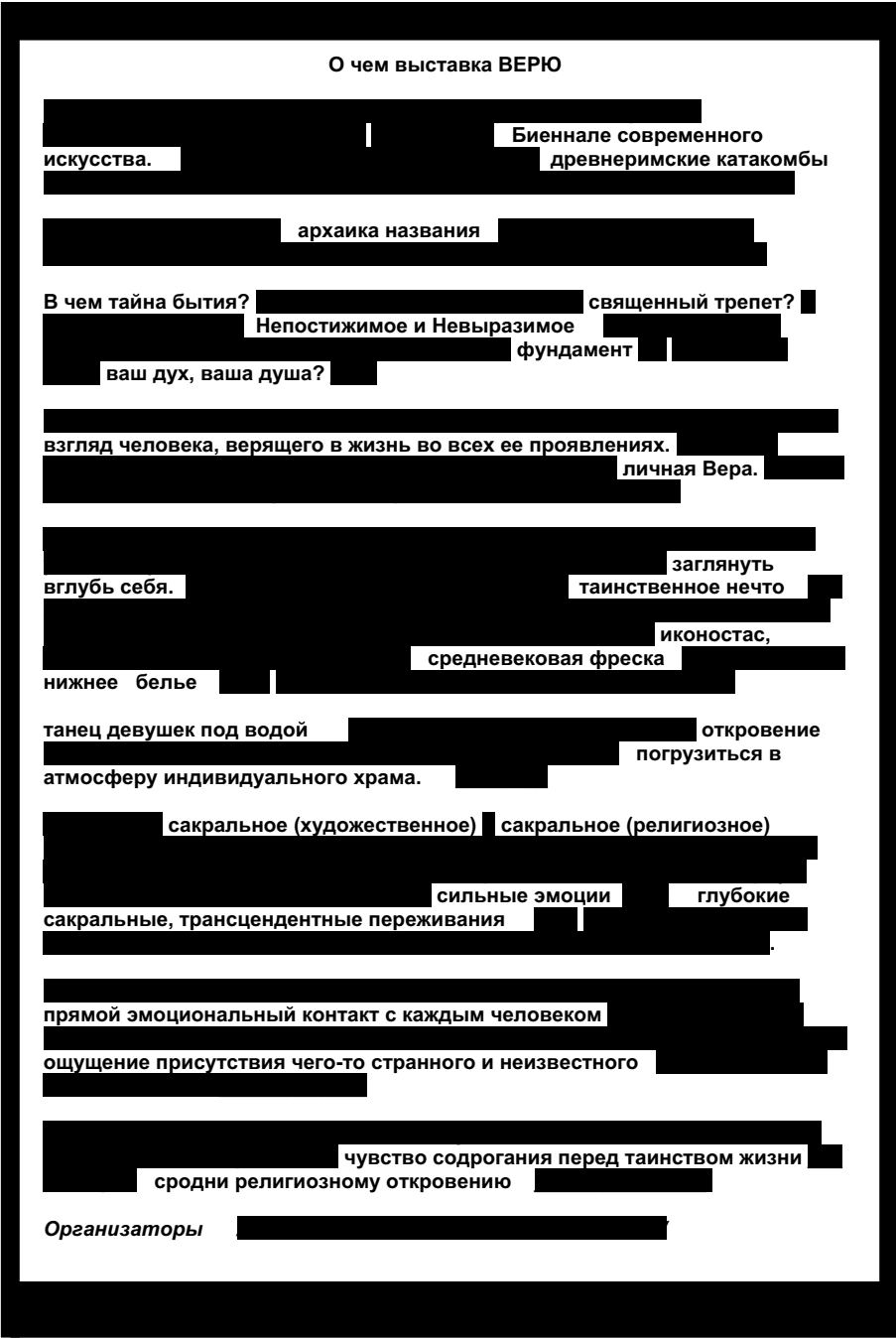
Современное искусство после непродолжитель-ного периода девиаций 90-ых годов в проекте “Верю!” наконец делает заявление о своем полном принятии сформированного режима своего функционирования. Каков он, этот режим? Художественные проект – отрабатывающие матрицы сакрального-национального-традицион-ного в современной версии New Age fusion доказывают свою притягательность не только для бизнеса. Есть надежда, что и государство, наконец-то, зафиксирует свой выбор – ведь “некоторое благолепие с элементом тайны, сказки, мистики” (Олег Кулик о проекте “Верю!”) вполне может потянуть на национальный брэнд. Проект “Верю!”, словами своего идеолога Кулика очень точно формулирует задачу, в которой сомкнулись интересы элиты художественной, правящей, и бизнеса. Современной России нужен не критичес-кий интеллектуализм кураторских практик, а face control [1] – то есть аналог современной российс-кой политики – вытеснение всех, кто способен сохранять сомнения и практиковать критику, в зону не-различения, в «голую жизнь» борьбы за физическое выживание.

## 04. Выбрать сторону силы

Момент реакции характерен тем, что в нем получают преимущественное развитие наиболее регрессивные модели развития культурного производства, ставя его в полную зависимость от популистских задач элит. В переводе на политичес-кий язык это звучит так: искусство отказывается от своей способности учреждающей власти и ставит себя в позицию обслуживания власти существующей, то есть из оппозиционно-крити-ческой практики оно переходит на сторону силы и становится языком оформляющим идеологию правящего класса. “Скреплять народ может только общая система образов, общее понятие ценностей и символов” (Вл. Сурков) Таково историческое значение искусства в эпохи реакции, и российская ситуация не стала исключением. Культура, как и все общество, развивается в гипертрофированной форме, что приводит к самым spectacularным проявлениям варварства – новая московская архитектура, новые российские теле-шоу и кино, потоки мусорной книжной продукции и последние «салонные» тенденции в современном искусстве – яркое тому подтверждение.

## 05. В чем сила нашей “creative industry”?

Современная власть в России до последнего времени оставалась дезориентированной по отношению к современному искусству. Эта совершенно маргинальная зона в сравнении с по-пулярной или спортом была предоставлена самой себе и практически лишена какой-то релевантной поддержки, как бизнеса, так и государства. В тоже время, элита, набираясь опыта, осознавала, что эпоха глобализации требует современного нацио-нального брэндинга. Стало ясно, что игнорировать потенциал современного искусства совсем уж глупо – т.к. оно в последнее десятилетие развилось в мощную индустрию с огромной капитализацией и привлекательным имиджем, переплетающимся с современной индустрией досуга, туризма и трансформацией городской среды в единый шопинг-центр. Однако, чтобы сократить явное отставания России в этой области, не достаточно просто позвать западного тренера для национальной сборной, хотя команда кураторов Московской биеннале могла сыграть подобную функцию, если бы ее могли бы заинтересовать в России чем-то боль-шим, чем разовыми выплатами крупных гонора-ров. Необходимо создать уникальный националь-ный продукт, который мог бы конкурировать с западными товарами. До последнего времени этого продукта в до-стойных оптовых продаж количествах не вырисо-вывалось. Или же этот продукт находился в зоне неразличения для российских элит, сформирован-ных в условиях сырьевой экономики, криминали-зированных бюрократических структур, объектив-



но не нуждающихся ни в каком иновационно- рискованном бизнесе, как современное искусство. И лишь тогда, когда российские деятели культуры начали дискутировать “попытки иску-ства выскочить из общей ситуации инновации, а создать ситуацию какого-то совсем другого типа: стабильности, неизменности” (Анатолий Осмолов-ский), то тут поваяло чем-то очень родным, и поддержка оказалась обеспе-чена. Но дело даже не том, нарастет ли серьезный спрос “на веру” на междуна-родной сцене или не нарастет. Главное, что на это уже есть спрос внутренний. Капитализация “Веры” российских интеллигентов стала местным ноу-хау как разработка своей оригинальной версии “creative industry”.

## 06. Почем опиум?

Опиум нынче дорог. Экономика веры давно уже отошла от архаических форм церковного влияния на паству. Шоппинг-центры последнего поколе-ния и телешоу работает эффективнее, чем множество открывающихся церк-вей. Главное – не допустить и тени сомнения в том, что что-то может быть прекраснее и желаннее, чем президент – отец нации, его правящие партии, прилавки, полные товаров, высокие заборы на Рублевке, за которыми стоят дома важных людей в ожидании, когда их гостиные наконец-то будут украшены произведениями националь-ных художников. К тому же, чем больше инвестиции, тем выше откат. Сформиро-вавшаяся в этой экономической парадиг-ме логика местного капитала говорит о том, что никому не интересно поддер-живать небольшие проекты, – необходим размах. Если критическое сознание в реальном дефиците в России, то вот уж веры всегда было более чем достаточно. Главное найти ей дорогу и современную упаковку. И упаковщики появились. В больших количествах.

## 07. О пользе неверия

Стрый лозунг “чем хуже, тем лучше” таит ту опасность, что в результате лучшее строить будет уже не из чего. Момент реакции, как и любое другое время, является динамическим равновесием, – в эти моменты главную разрушительную силу общества представляет сама власть,

которая, утратив любые ориентиры прог-ресса и свободы, неминуемо срывается в очередной кризис. Время реакции всегда исторически обречено, т.к. из-за боязни потерять мнимую стабиль-ность оно работает в режиме закрытия множества возможностей. К тому же, любая власть, даже завязанная на природные ресурсы, не едина и всегда расколота на множество жестко враждующих группировок, кото-рые не способны сохранить даже внеш-нюю репрезентацию единства. И сами чуткие деятели политики чувствуют отсутст-вие перспективы, даже в моменты, когда кажется, что все идет блеск, как хорошо.

За реакцией неизбежно приходит время подъема, субъекты которого вынуждены обращаться к иным историческим собы-тиям и хранить верность практикам эмансипации даже в самые мрачные времена. Источник подлинного обще-ственного развития заключен в сохранении критической множественности подходов к возникающим задачам, стоящим перед обществом. В способности видеть и отстаивать различия, там, где власть навязывает тупиковую композицию тотализирующего единства – нации, корпорации, потребления, государства.

Учреждающий человеческий труд, каж-дый раз освобождаясь от оков, связы-вающих его творческую энергию, спосо-бен создавать нечто подлинно новое в искусстве, политике и повседневности, то, что уже невозможно приватизировать и что может быть разделено во благо всех. Именно поэтому только один аспект веры оказался не доступен процедуре капита-лизации в этом парке аттракционов под названием “Верю!”. Вера в критический разум и достоинство человека; вера, наполненная страстью к равенству; вера в идею справедливости; вера, которая дает силы каждый раз превосходить себя и становиться больше, иными словами – вера в коммунизм.

1. см. статью Давида Риффа “Face-Control или потеря лица на Московской Биеннале”, опубликованной в Московском Художественном Журнале в 2005 году



## Dmitry Vilensky | The Capitalization of Belief

*In the “strength of negativity,” Hegel saw the vitality of the spirit, and, consequently, of reason. In the final analysis, this strength was the strength to grasp and change given facts in correspondence with the development of potentialities, and through the negation of the “positive” as soon as it became an obstacle blocking the path of free development. At its very essence, reason is contradiction, opposition, and negation until freedom does not become a reality. If the contradictory, antagonistic negative force of reason suffers a defeat, reality moves in accordance with its own positive laws; meeting no resistance from the side of reason, it unfolds its own repressive force.*

Herbert Marcuse, from "Reason and Revolution"

*I'm not exercising censorship but face control. You have to know what times we're living in.*  
Oleg Kulik on his curatorial role in the project I BELIEVE

## 01. Russia. Early 2007

Recently, there has been a flood of propaganda to convince us that life is getting better and that all the miseries of the transitional period are a thing of the past. Ours is a time of stability and normalization. The quality of life is improving. Wise leaders rule the country, enjoying the population's blind trust. There are no alternatives to the road ahead. Recent legislation makes it easy to declare that anyone who voices any serious doubts as an extremist, an inner enemy, or an agent of one of the growing number of adversaries abroad. In the media, there are more and more stereotypes convincingly reminiscent of Brezhnev-era phraseology. Feverishly scouring bygone epochs for sources of legitimacy, power chooses those moments that epitomize stagnation, stubbornly repressing their eventual outcome from collective memory.

## 02. Belief in power

The elite is beginning to realize that it is not enough to control the economy and to manipulate politics. It is not enough to establish control over the public sphere, and to criminalize NGOs, trade unions, and other institutions of civil society. The doctrine of “sovereign democracy” actually only confirms that the elites of Russian society have already attained a maximum of sovereignty over the rest of the population, a sovereignty that now needs to be placed beyond the pale of doubt. The united sovereign of the state-corporate conglomerate requires confirmation in a new symbolic order capable of representing its unified diversity. This demands the reconstitution of the public sphere as a unified, affirmative whole, and the rejection of any idea of transformation that is not part of the state’s projects. Mechanisms of belief are mobilized to confirm power as something sacred, thus hiding its actual mechanisms. Businessmen and bureaucrats cannot solve this task alone. They need cultural workers to help them.

### 03. Autonomy reloaded (Russian-style)

As the Russian elite strives to confirm its sovereignty, many people call for the autonomy of culture. However, it turns out that their notion of autonomy has rather dubious implications, especially when it entails a total rejection of social engagement or criticism. In fact, this corresponds to the distance Russian cultural producers have traditionally taken to politics, escaping into mysticism and sacral practices, renouncing negation in favor of optimistic affirmations. In a letter to Chadeev, dated 1836, Pushkin complains: "This absence of public opinion, this indifference to what is duty, justice, and truth, this cynical contempt of thought and human dignity leads to deep despair." Since then, it seems that very little has changed.

Weekly deciding that it is impossible to change the world, art turns to the affirmative. "What we need today are positive values," Oleg Kulik declares, finding general resonance among all kinds of cultural producers. One can easily see the economic motives behind such super-

positive affirmations, no matter what they actually believe in; the general assumption is that culture will soon be firmly inscribed into the institutions of power and capital. Manifestations of positive thinking are rewarded generously.

#### 04. Project(s) of artistic optimism

The exhibition I BELIEVE has a record budget. But more importantly, it shows that an overwhelming majority of contemporary artists has finally come to terms with art's new function, after a short period of deviance in the early 1990s. As testing grounds for a new age remix of sacral-national-traditional values, art projects like I BELIEVE are not only attractive to business. There is also a hope that the state will commit: "beauty with an element of secrets, fairytales, and mysticism" (Oleg Kulik) may well be a viable national brand. In any case, the elites of art, business, and government can agree: contemporary Russia does not need critical curatorial practices, but *face control* (1), a door policy in analogy to contemporary Russian politics: everyone incapable of suspending their disbelief is kept outside in a zone of in-difference, exposed to the elements as "bare life."

## 05. Siding with strength

Reactionary times usually signal intense development of the most regressive cultural models, which are totally subordinate to populist tasks, set by the elite. Translating this into a political language, one could say that art renounces its constituent power and puts itself into the position of serving constituted power. Abandoning oppositional-critical practices, it gravitates to the stronger side and becomes a decoration for the dominant ideology. As Vladislav Surkov, Putin's deputy chief of staff and Kremlin ideologist puts it: "The people can only be fastened together by a system of common images, common values, and common symbols." Art's historical role in times of reaction is to create such a system, and the Russian situation today is no exception. Contemporary culture, just like society at large, hypertrophies, leading to the most spectacular displays of barbarism, such as new Moscow architecture, new Russian TV shows, new blockbusters, pulp fiction and cheap biographies printed by the ton, and the latest tendencies in contemporary art's salon.

**06. What is the strength of our “creative industry”?**

Until very recently, the Russian elite has been disoriented as far as contemporary art is concerned. In comparison to pop-culture or sports, contemporary art was very much marginal and left unto itself, practically bereft of corporate or governmental funding. At the same time, the elite has garnered enough experience to know that the epoch of globalization requires a more contemporary form of national branding. Clearly, it would be quite stupid to ignore the potential of contemporary art entirely; over the last decade, the latter has developed into a major industry with plenty of capitalizations and an attractive image, interwoven with the leisure industry, tourism, and real estate development, all of which are transforming cities into unified shopping centers. Yet since Russia obviously is lagging behind in this regard, it is not enough just to call in foreign trainers for the national team. What it really needs is a national product that might compete with Western cultural goods.

Until very recently, this product had not reached the quantity or scale of wholesale distribution, remaining in a piece-meal zone of indifference for an elite largely formed under the conditions of a resource economy with a criminalized bureaucratic structure, lacking any objective need to embark innovative, risk-intensive ventures like contemporary art. Recently, however, Russian cultural producers have been discussing "art's attempt to leapfrog out of the general atmosphere of innovation, creating a situation of a very different type: one of unchanging stability" (Anatoly Osmolovsky). This sounds far more familiar, so that funds have been forthcoming. The question is not whether there is any serious demand for "belief" on the international scene or not. The point is that the domestic demand for it is clearly present.

The Russian intelligentsia's capitalization of "belief" has become a local form of know-how, developing its own original "creative industry."

**07. How much is opium?**

Opium is expensive now. The economy of belief has long since abandoned archaic forms of the church's influence over its flock. Next-generation shopping malls and TV shows are far more effective than any number of newly opened churches. The main thing is not let any doubt arise that anything could be better or more desirable than the president (father of the nation), his ruling parties, full shop-shelves, high fences around the country villas with important owners eagerly waiting for a national artist's work to decorate their living room. At the same time, kickbacks rise in proportion to investments. Formed by this economic paradigm, the logic of local capital says that no one is interested in supported modest projects. What we need today is scale. While there may be a deficit of critical consciousness in Russia today, there has always been more than enough belief to go around. The main thing is find the right packaging. And as usual, there are plenty of packagers to be found.

## 08. On the importance of disbelief

One of the pitfalls in an old slogan like “the worse, the better” is that there may well be nothing left with which to build a better world. Like any other moment in history, a time of reaction is a dynamic equilibrium. In moments like these, the most destructive force in society is power itself. Having lost all point of orientation toward progress and freedom, it invariably plunges into yet another crisis. Reactionary times are always historically doomed, since the fear of losing they close off so many possibilities for further development. for fear of losing its illusory stability. Moreover, power is never unified, and falls apart into a great many groups desperately vying for supremacy, and thus incapable of keeping up the outer appearance of representative unity. And the most sensitive politicians sense the lack of any further perspective even in moments in which everything seems to be going extremely well.

Reactionary times are inevitably followed far more progressive periods, whose subjects will be forced to turn to other histories for a frame of reference. This is why some people still retain their fidelity to emancipatory practices even in the darkest of times. The source of any genuine social development lies in the presence of a critical multiplicity of approaches to the questions that society faces, and in the ability of seeing and insisting upon difference wherever power imposes the dead-end composition of totalizing integrators, such as nations, corporations, consumption, or the state.

The constituent power of human labor, freeing itself of the shackles that bind its creative energies time and time again, is capable of creating something new in art, politics, and the everyday, impossible to privatize and freely available for the common good. This is precisely why only one belief is not available for privatization in the theme park of an exhibition like I BELIEVE, a belief that gives people the strength to overcome themselves and become more, a belief in a world in which critical reason, human dignity, equality, or justice are not just empty words, in short: the belief in communism

1. Cf. David Riff, *Face-Control, or Losing Face at the Moscow Biennial*, <http://xz.gif.ru/numbers/moscow-art-magazine/face-control/>

translated by David Riff

## What the Exhibition “I BELIEVE” is about

biennial of contemporary art\_\_\_\_\_ancient Roman  
catacombs\_\_\_\_\_archaism of title\_\_\_\_What is  
the secret of being?\_\_\_\_\_sacred awe?

The untouchable and ineffable \_\_\_\_\_  
the foundation \_\_\_\_\_ That your spirit  
and your soul stand upon \_\_\_\_\_

The gaze \_\_\_\_\_  
Of a person who believes in life in all of its

manifestations\_\_\_\_\_Personal belief

The hustle-bustle of the everyday\_\_\_\_\_Look  
deeply into yourself\_\_\_\_\_Mysterious something

Iconostas\_\_\_\_\_Medieval frescoes\_\_\_\_\_

Underwear \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_The dance of girl underwater  
in a boiling cauldron\_\_\_\_\_Enlightenment

---

The atmosphere of an individual cathedral \_\_\_\_\_  
sacred (artistic) \_\_\_\_\_ and \_\_\_\_\_

sacred (religious)\_\_\_\_\_sacral,  
transcendent experience\_\_\_\_\_

direct emotional contact with each human being\_\_\_\_\_

---

a sense of some strange, unknown presence

the feeling of trembling at the mystery of life\_\_\_\_\_

akin to religious enlightenment

<http://mmoma.ru/veru>

<http://mmhoma.ru/veru>



# From An Interview with Alain Badiou The Saturated Generic Identity of the Working Class

Alain Badiou gave this interview on the occasion of a conference titled “Is a History of the Cultural Revolution Possible?” The conference was held at the University of Washington in February, 2006. Most of the following questions were prepared by Nicolas Veroli, who could not be present. Diana George conducted the interview.

This text first appeared in October 2006 at <http://info.interactivist.net/article.pl?sid=06/10/26/2128249&mode=nested&tid=9>

**Q:** I'd like to ask you about your political and intellectual trajectory from the mid 60s until today. How have your views about revolutionary politics, Marxism, and Maoism changed since then?

**Badiou:** During the first years of my political activity, there were two fundamental events. The first was the fight against the colonial war in Algeria at the end of the 50s and the beginning of the 60s. I learned during this fight that political conviction is not a question of numbers, of majority. Because at the beginning of the Algerian war, we were really very few against the war. It was a lesson for me; you have to do something when you think it's a necessity, when it's right, without caring about the numbers. The second event was May 68. During May 68, I learned that we have to organize direct relations between intellectuals and workers. We cannot do that only by the mediation of parties, associations, and so on. We have to directly experience the relation with the political. My interest in Maoism and the Cultural Revolution during the end of 60s and the beginning of the 70s, was this: a political conviction that organizes something like direct relations between intellectuals and workers.

**Q:** What is your idea of fidelity?

**Badiou:** That's already contained in the first answer. For me, fidelity is fidelity to great events which are constitutive of my political subjectivity. And perhaps there is also something much older, because during the war my father was in the Resistance against the Nazis. Naturally, during the war, he did not say anything about it to me; it was a matter of life and death. So my fidelity is also a fidelity to my father. Generally speaking, my fidelity is to two great events: the engagement against the colonial war, and to May 68 and its consequences. Not only the event of May 68 as such, but also its consequences. Fidelity is a practical matter; you have to organize something, to do something. This is the reality of fidelity.

**Q:** You've said that there has been a rupture, that the entire question of politics is currently in great obscurity. Also, you have written that we must think a politics without party. After the saturation of the class-party experiment, what next?

Badiou: I think a fidelity does not really finish, but sometimes it is saturated; that is my term for it. There is a saturation; you cannot find anything new in the field of your first fidelity. Many people, when this is the case, just say, "It's finished." And really, a political sequence has a beginning and an end, too, an end in the form of saturation. Saturation is not a brutal rupture, but it becomes progressively more difficult to find something new in the field of the fidelity. Since the mid-80s, more and more, there has been something like a saturation of revolutionary politics in its conventional framework: class struggle, party, dictatorship of the proletariat, and so on. So we have to find something like a fidelity to the fidelity. Not a simple fidelity. For my generation, it's a choice between saying, on the one hand, "Nothing is possible today in the political field; the reactionary tendency is too strong." That's the position of many people in France today; it's the negative interpretation of saturation. When the fidelity is saturated, you have a choice. The first possibility is to say it's finished. The second possibility is this: With the help of certain events — like the events in South America today — you find what I name a fidelity to the fidelity. Fidelity to the fidelity is not a continuation, strictly speaking, and not a pure rupture, either. We have to find something new. When I was saying yesterday that "from outside, you can see something you don't see from inside," that's merely a rule by which to find something new.

**Q:** If I can press you further about the something new: After the saturation of party politics, what now?

**Badiou:** If the answer to that were clear, the discussion would be finished, too. You have to find that out; it's not so clear. Today we have an experimental sequence from the point of view of political practice. We have to accept the multiplicity of experiences. We lack a unified field — not only in something like the Third International, but also in concepts there is no unified field. So you have to accept something like local experiments; we have to do collective work about all that. We have to find — with help of philosophical concepts, economic concepts, historical concepts — the new synthesis. I think our situation is much more similar to that of the 19th century than to that of the 20th. Nearer Marx than Lenin, if you like, metaphorically speaking. Lenin was really the thinker of the new concept of revolutionary politics, with the idea that we could be victorious, that the revolution was a possibility. That's not exactly the situation today; the idea of revolution is obscure in itself today. But we can do as Marx did — it's a metaphor, an image. You have to think the multiplicity of popular experiences, philosophical directions, new studies, and so on. You must do these things as Marx himself did. Today, there's something violent and cynical in capitalism, very much like the capitalism of the 19th century. In the 20th century, capitalism was limited by revolutionary action. Today, the capitalists have no fear of anything. They are in the stage of primitive accumulation, and there is a real brutality to the situation. That's why I think the work today is to find a new synthesis, a new form of organization, like our predecessors of the 19th century. Our grandfathers, if you will, rather than our fathers in the political field.

**Q:** I'd like to ask about the current global situation and of the relationship of the US to that situation. Is the US simply a privileged node in a network of global sovereignty (as Hardt and Negri argue) or is the US playing the role of a traditional imperialist power in Lenin's sense?

**Badiou:** I don't completely agree with Negri. I think [his] perception is too systemic. Empire is a system. Negri's conviction is always that within the system there are also resources for something new on the side of revolutionary politics, or politics of emancipation. There is always in Negri the conviction that the strength of capitalism is also the creativity of the multitude. Two faces of the same phenomenon: the oppressive face and, on the other side, the emancipatory, in something like a unity. Not exactly a dialectical unity in the Hegelian sense, but still a unity. So there is no necessity of an event in Negri, because there's something structural in the movement of emancipation. One consequence for Negri is that the great question in the political field is the question of the movement. Movements are certainly of great importance. But the real question today is not the relation between the movement and the state. The real question is, what is the new form of organization after the party? More generally, what is a new political discipline? People who have nothing — no power, no money, no media — have only their discipline as a possibility of strength. Marxism and Leninism defined a first form of popular discipline, which was trade unions and party. There were many differences, but finally that was the form of popular discipline, and the possibility of real action. And today we cannot hope that this form will continue. The real situation is that we have no discipline in the popular camp, and so we have a great weakness. In fact the best situations today are ones where the state is not really in the hands of the reactionaries, for example, the situation of Chavez in Venezuela. But that's not a complete change of the situation; it's a chance, a local chance, nothing more. It's something, but it's not the solution. The solution of the problem in the long term will be the invention of a new form of immanent discipline in the popular camp. That will be the end of the long weakness of the popular camp after the success — but also the failure — of the form of the party.

# Из интервью с Аленом Бадью | Родовая идентичность рабочего класса достигла предела насыщения

Ален Бадью дал это интервью в связи с конференцией «Возможна ли история Культурной революции?», состоявшейся в Вашингтонском университете в феврале 2006 года. Большинство вопросов подготовил Ноколас Вероли, который не смог присутствовать на интервью лично. Задавала вопросы Диана Джордж.

Текст был полностью опубликован на сайте <http://info.interactivist.net/article.pl?sid=06/10/26/2128249&mode=nested&tid=9>

**Вопрос:** Я хотела бы спросить вас о вашей политической и интеллектуальной траектории с середины 1960-х годов по настоящее время. Как с тех пор изменились ваши взгляды на революционную политику, марксизм и маоизм?

**Бадью:** В первые годы моей политической деятельности имели место два фундаментальных события. Первое — это борьба против колониальной войны в Алжире в конце 1950-х — начале 1960-х годов. Из этой борьбы я вынес, что политические убеждения — это не вопрос количества, большинства. Потому что в начале Алжирской войны нас, протестующих против этой войны, было на самом деле очень мало. Для меня это был урок; ты должен что-то делать, когда считаешь это необходимым, когда это правильно, не заботясь о количестве. Вторым событием стал Май 68-го, в ходе которого я научился тому, что мы должны организовать прямую связь между интеллектуалами и рабочими. Мы не можем делать это только через посредство партий, союзов и так далее. Мы должны напрямую вступить в отношения с политическим. Мой интерес к маоизму и Культурной революции в конце 1960-х — начале 1970-х заключался в следующем: политическое убеждение, организующее нечто вроде прямых связей между интеллектуалами и рабочими.

**Вопрос:** В чем ваша идея верности?

**Бадью:** Она уже содержится в первом ответе. Верность для меня — это верность великим событиям, которые являются основополагающими, конституирующими для моей политической субъективности. И еще, возможно, нечто более давнее, потому что во время войны мой отец участвовал в Сопротивлении, боролся с нацистами. Естественно, во время войны он ничего мне об этом не говорил; то был вопрос жизни и смерти. Так что моя верность — это также верность моему отцу. Обобщая, можно сказать, что моя верность — это верность двум великим событиям: участию в борьбе против колониальной войны и Маю 68-го и его следствиям. Не только самому Маю 68-го, но и его следствиям. Верность — это практический вопрос, ты должен что-то организовать, должен что-то делать. Такова реальность верности.

**Вопрос:** Вы сказали, что имел место разрыв, что проблема политики в настоящий момент крайне затемнена. Кроме того, вы писали, что мы должны мыслить политику без партий. После того, как эксперимент класса-партии достиг предела насыщения, что дальше?

**Бадью:** Я думаю, верность в действительности не кончается, но иногда она достигает насыщения; таков мой термин для этого состояния. Имеет место предел насыщения; вы не можете найти ничего нового в поле вашей первой верности. Многие в таком случае просто говорят: «Кончено». И действительно, политическая последовательность тоже имеет начало и конец, конец в форме предела насыщения. Насыщение не есть резкий разрыв, однако становится все труднее отыскать нечто новое в поле верности. С середины 1980-х годов все больше и больше имело место нечто вроде предела насыщения революционной политики в ее традиционной схеме: классовая борьба, партия, диктатура пролетариата и так далее. Вот почему мы должны отыскать что-то вроде верности верности, а не просто верность.

**Q:** I'd like to ask about the politics of identity, which can be summed up in the thesis that for every oppression there must be a resistance by the group which is being oppressed — otherwise the oppression (racism, sexism, homophobia, etc...) will remain unaddressed — this politics of identity is something you are quite critical of.

**Badiou:** The question of the political process is always a question that goes beyond identities. It's the question of finding something that is, paradoxically, a generic identity, the identity of no-identity, the identity which is beyond all identities. For Marx, "proletariat" was the name of something like that. In the Manuscripts of 1844, Marx writes that the very nature of the proletariat is to be generic. It's not an identity. It's something like an identity which is non-identity; it's humanity as such. That's why for Marx the liberation of the working class is liberation of humanity as such, because the working class is something generic and not a pure identity. Probably that function of the working class is saturated. We cannot substitute a mere collection of identities for the saturated generic identity of the working class. I think we have to find the political determination that integrates the identities, the principles of which are beyond identity. The great difficulty is to do that without something like the working class. Without something that was a connection between particularity and universality, because that's what the working class was. The particularity of the working class was its location in a singular place; the working class was generic. The solution of the problem for Marxism was the human group which is not really an identity, which is beyond identity. We have to do the same thing, but probably without that sort of solution. We cannot say that today this group is the generic group and that the emancipation of this group is also the emancipation of us all. So we have to find something more formal. Why formal? Because it's less inscribed in the singularity of a group. It's a relation between principles, between the formalism of the new discipline and all identities in the social field. It's a problem now for which we don't yet have the solution. Marx's solution is a sort of miracle: you find the group which is also the generic group. It was an extraordinary invention. The history of this Marxist invention, in its concrete political determination, was not so much the history of the generic group, of the working class as such, but rather history of the representation of this generic group in a political organization: it was the history of the party. The crisis now is the crisis of representation, and also the crisis of the idea of the generic group. When you see that a sequence of politics of emancipation is finished, you have a choice: you can continue in the same political field, or you can find the fidelity to the fidelity. It's the same thing here: If the idea of the working class as a generic group is saturated, you have the choice of saying that there are only identities, and that the best hope is the revolt of some particular identity. Or you can say that we have to find something much more universal, much more generic. But probably without the representative generic group.



Для моего поколения это выбор, с одной стороны, между выказыванием: «Ничего невозможно в политическом поле; реакционная тенденция слишком сильна». Такова сегодня позиция многих во Франции; это негативная интерпретация насыщения. Когда верность достигла предела насыщения, у вас есть выбор. Первая возможность – это сказать, что с верностью покончено. Вторая же возможность вот в чем: с помощью определенных событий – таких, как нынешние события в Южной Америке – вы обнаруживаете то, что я называю верность верности. Верность верности не есть, строго говоря, продолжение, но это и не чистый разрыв. Мы должны обнаружить нечто новое. Когда вчера я говорил, что «извне можно увидеть нечто, чего не видно изнутри», я озвучил правило, с помощью которого можно отыскать нечто новое.

**Вопрос:** Не могли бы вы все-таки уточнить: после насыщения партийной политики – что теперь?

**Бадью:** Если бы имелся ясный и четкий ответ, дискуссия бы на этом тоже закончилась. Вы должны в этом разобраться; тут все не столь ясно. Сегодня у нас есть экспериментальная последовательность с точки зрения политической практики. Мы должны принять множественность опыта. Нам не хватает единого поля – не только чего-то вроде Третьего Интернационала, но и в самих понятиях. Поэтому необходимо принять что-то вроде локальных экспериментов; со всем этим необходимо проделать коллективную работу. Мы должны найти – при помощи философских понятий, экономических понятий, исторических понятий – новый синтез. Я полагаю, наша ситуация куда больше походит на ситуацию девятнадцатого века, чем на ситуацию двадцатого. Если угодно, она ближе к Марксу, чем к Ленину, метафорически говоря. Ленин был в действительности мыслителем нового понятия революционной политики, с той идеей, что мы можем победить, что революция – это возможность. Сегодня ситуация не совсем такова; сегодня идея революции сама по себе туманна. Но мы можем поступить так, как поступил Маркс – это метафора, образ. Необходимо помыслить множественность народного опыта, философских направлений, новых исследований и так далее. Необходимо все это проделать, как проделал в свое время Маркс. В сегодняшнем капитализме есть что-то насильственное и циничное, во многом как и в капитализме девятнадцатого века. В двадцатом века капитализм был ограничен революционным действием. Сегодня же капиталисты ничего не боятся. Они находятся на стадии первоначального накопления, и в этой ситуации есть настоящая жестокость. Вот почему я думаю, что задача сегодня состоит в нахождении нового синтеза, новых форм организации, как это сделали наши предшественники в девятнадцатом веке. Наши деды, если угодно, а не наши отцы в политическом поле.

**Вопрос:** Я хотела бы спросить о текущей глобальной ситуации и об отношении США к этой ситуации. Являются ли США просто привилегированным звеном в сети глобальной суверенности (как утверждают Хардт и Негри), или же США играют роль традиционной империалистической державы в ленинском смысле?

**Бадью:** Я не во всем согласен с Негри. Я думаю, его восприятие слишком системно. Империя – это система. Негри убежден, что внутри системы существуют также и ресурсы для чего-то нового со стороны революционной политики, или политики освобождения. В Негри неизменно живет убеждение, что сила капитализма есть также творческая способность множеств. Два лика одного и того же явления: подавляющий лик и, с другой стороны, освободительный, в чем-то наподобие единства. Не совсем диалектического единства в гегелевском смысле, но все же единства. Потому-то для Негри и нет необходимости в событии, потому что в движении освобождения есть нечто структурное. Одним из следствий подхода Негри является то, что величайшим вопросом в политическом поле становится вопрос движения. Движения, безусловно, крайне важны. Однако настоящий вопрос сегодня – это не вопрос отношения между движением и государством. Настоящий вопрос, в чем новая форма организации после партии? Более общо, в чем новая политическая дисциплина? У людей, у которых ничего нет – ни власти, ни денег, ни средств массовой коммуникации, – есть только их дисциплина как возможность силы. Марксизм и ленинизм определили

первую форму народной дисциплины, а именно профсоюзы и партию. Имелось много различий, но, в конце концов, то была форма народной дисциплины и возможность реального действия. А сегодня мы не можем надеяться, что эта форма продолжит свое существование. Реальная ситуация в том, что в народном лагере у нас нет дисциплины, отсюда и наша величайшая слабость. На самом деле лучшие ситуации сегодня те, где государство не находится в руках реакционеров, например, ситуация Чавеса в Венесуэле. Но это не полное изменение ситуации; это шанс, локальный шанс, ничего больше. Это что-то, но это не решение. Решением проблемы в далекой перспективе будет изобретение новой формы имманентной дисциплины в народном лагере. Это будет конец длительной слабости народного лагеря после успеха – но также и краха – формы партии.

**Вопрос:** Я хотела бы задать вопрос о политике идентичности, которую можно суммировать в тезисе, что на каждое угнетение должно быть сопротивление группы, которая угнетается – в противном случае угнетение (расизм, сексизм, гомофобия и так далее) останется не адресованным. К этой политике идентичности вы относитесь весьма критично.

**Бадью:** Вопрос политического процесса – это вопрос, всегда выходящий за пределы идентичностей. Это вопрос нахождения чего-то, что парадоксальным образом является родовой идентичностью, идентичностью без идентичности, идентичностью по ту сторону всех идентичностей. Для Маркса «пролетариат» был именем чего-то подобного. В рукописях 1844-го года Маркс пишет, что сама природа пролетариата должна быть родовой. Это не идентичность. Это что-то наподобие идентичности, каковая есть неидентичность; это человечество как таковое. Поэтому-то освобождение рабочего класса для Маркса – это освобождение человечества как такового, потому что рабочий класс есть нечто родовое, а не чистая идентичность. Возможно, эта функция рабочего класса достигла предела насыщения. Мы не можем заменить простой совокупностью идентичностей родовую идентичность, достигшую предела своего насыщения. Я думаю, мы должны отыскать интегрирующую идентичности политическую детерминацию, принципы которой лежат за пределами идентичности. Самая большая трудность – сделать это без чего-то наподобие рабочего класса. Без чего-то, что было связью между особостью и универсальностью, потому что именно такой связью и был рабочий класс. Особенность рабочего класса состояла в его нахождении в сингулярном месте; рабочий класс был родовым. Решение проблемы для марксизма заключалось в человеческой группе, которая в действительности не является идентичностью, которая по ту сторону идентичности. Мы должны сделать то же самое, но, возможно, без решения в подобном духе. Мы не можем сказать, что сегодня эта группа является родовой и что освобождение этой группы есть также освобождение всех нас. Стало быть, необходимо найти нечто более формальное. Почему формальное? Потому что оно меньше вписано в сингулярность группы. Это отношение между принципами, между формализмом новой дисциплины и всех идентичностей в социальном поле. Сейчас это проблема, для которой у нас пока нет решения. Решение Маркса – это что-то вроде чуда: вы находите группу, которая является также и родовой группой. Это было выдающееся изобретение. История марксистского изобретения, в его конкретной политической детерминации, была не столько историей родовой группы, рабочего класса как такового, но скорее историей представительства этой родовой группы в политической организации: это была история партии. Этот кризис является сейчас кризисом представительства, а также кризисом идеи родовой группы. Когда вы видите, что последовательность политики освобождения завершена, у вас есть выбор: вы можете продолжать в том же политическом поле, либо можете отыскать верность верности. То же самое и здесь: если идея рабочего класса как родовой группы достигла предела насыщения, у вас есть выбор сказать, что имеются одни лишь идентичности и что лучшая надежда – это восстание некоей особой идентичности. Либо вы можете сказать, что мы должны отыскать нечто более универсальное, нечто более родовое. Но, возможно, без представительской родовой группы.

Перевод с англ. Александра Скидана

transversal.eipcp.net

многоязычный интернет журнал multilingual webjournal

с апреля 2007 - избранные тексты на русском

critique 08|06

judith butler, alex demirovic, marcelo exposito, marina garces, hakan gürses, irit rogoff, loïc wacquant

machines and subjectivation 11|06

maurizio lazzarato, katja diefenbach, stephan geene, brian holmes, isabell lorey, gerald raunig, suely rolnik, simon sheikh, vassilis tsianos / dimitris papadopoulos

instituting creativity 02|07

luc boltanski / eve chiapello, yann moulier-boutang, brigitta kuster / vassilis tsianos, maurizio lazzarato, esther leslie, angela mcrobbie, pierre-michel menger, stefan nowotny, marion von osten, gerald raunig, paolo virno

instituierende praxen 04|07

cátedra experimental sobre producción de subjetividad, brian holmes, marta malo de molina, stefan nowotny, alice pechriggl, claire pentecoast, gerald raunig, gene ray, suely rolnik

учреждающее творчество

учреждающие практики

Russian translations of selected texts will be available beginning in April 2007

t r a n s f o r m.eipcp.net

european institute for progressive cultural policies

  **Kultur 2000**



В НОМЕРЕ:

БОРИС КАГАРЛИЦКИ

АРТЕМ МАГУН

АЛЕКСЕЙ ПЕНЗИН

ЛУЧЕЗАР БОЙЯДЖИЕВ

ИЛЬЯ БУДРАЙТСКИС

БРАЙЕН ХОЛМС

МАНС РАНГЕ

ЛАРС НИЛСОН

ИГОРЬ ЧУБАРОВ

ДАВИД РИФФ

ВИКТОР МИЗИАНО

ДМИТРИЙ ВИЛЕНСКИЙ

АЛЕН БАДЬЮ

ГРАФИКА:

МОНИКА МАРКЛИНГЕР

ИВАН БРАЖКИН

АРИС ПРАБАВА /ТАРИНГ ПАДИ/

CONTENT:

BORIS KAGARLITSKY

ARTIOM MAGUN

ALEXEY PENZIN

LUCHEZAR BOYADJIEV

ILYA BUDRAITSKIS

BRIAN HOLMES

MÅNS WRANGE

LARS NILSSON

IGOR CHUBAROV

DAVID RIFF

VICTOR MISIANO

DMITRY VILENSKY

ALAIN BADIOU

GRAPHICS:

MONIKA MARKLINGER

IVAN BRAZHKIN

ARIS PRABAWA /TARING PADI/

Публикация №15 - Идея и реализация: рабочая группа “Что делать?” | Publication №15 - Idea and realisation: Workgroup “Chto Delat /What is to be done?”

This publication was realized with support of | Эта публикация была реализована при частичной поддержке the Iaspis International Artists’ Studio Program in Sweden

This publication is appeared in the framework of documenta 12 magazines, a collective editorial project linking worldwide over 80 print and on-line periodicals, as well as other media /// Эта публикация реализована в рамках «Журнала Documenta 12» (www.documenta.de) коллективного редакционного проекта, связывающего более 80 публикаций со всего мира.

**благодарность:** всем художникам, авторам, переводчикам, фотографам поддержавшим это издание  
**many thanks to:** all the artists, authors, translators and photographers who supported this publication

**редакторы | editors:** Давид Рифф, Дмитрий Виленский | David Riff and Dmitry Vilensky

**графика | artwork and layout:** Дмитрий Виленский и Цапля | Dmitry Vilensky and Tsaplya

**cover | обложка:** Иван Бражкин. Работа из серии “Буржуи и Рабочие” | Ivan Brazhkin. From the series “Capitalists and Workers”

**Состав рабочей группы “Что делать?”/// The members of the workgroup “Chto delat?” include:** Глюкля | Gluklya / А. Магун | A. Magun // Н. Олейников | N. Oleynikov // А. Пензин | A. Penzin // Д. Рифф | D. Riff // А. Скидан | A. Skidan // О. Тимофеева | O. Timofeeva /// Цапля | Tsaplya // К. Шувалов | K. Shuvalov /// Д. Виленский | D. Vilensky

**Платформа «Что Делать?»** - это коллективный проект, создающий пространство взаимодействия между теорией, искусством и активизмом. Работа платформы осуществляется через сеть групповых инициатив в России и их диалоге с интернациональным контекстом. Деятельность платформы координируется одноименной рабочей группой.

Founded in early 2003 in Petersburg, **the platform “Chto delat?”** opens a space between theory, art, and activism. It is a collective initiative that is aimed at creation and developing a dialogue of different positions about politicization of knowledge production and about the place of art and poetics in this process.